

ОЛИВИЯ
ХОУКЕР

НЕРОВНЫЙ
КРАЙ
НОЧИ



Оливия Хоукер

Неровный край ночи

Серия «Звезды зарубежной прозы»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66636508

Неровный край ночи : [роман] / Оливия Хоукер ; [перевод, с английского

Е. Лакеевой].: АСТ; Москва; 2022

ISBN 978-5-17-136862-3

Аннотация

Германия, 1942 год. Антон Штарцман стоит на пороге безверия, разочарованный и в своей стране – смиренно склонившей голову перед нацизмом, и в самом себе – человеке, молчаливо наблюдающем за тем, как вершится зло. Его гложет чувство вины и осознание собственной беспомощности перед лицом «коричневой чумы», стремящейся уничтожить все живое. В надежде успокоить свою совесть герр Штарцман переезжает в небольшую деревушку, рассчитывая обрести если не счастье, то хотя бы покой в фиктивном браке с вдовой Элизабет Гертер, которой он обещал помогать в ведении быта и воспитании детей. Но разве возможна сельская идиллия в мире, где каждый день тысячи невинных людей отправляются на смерть? Антон отчаянно хочет искупить свою вину перед теми, кого он не смог защитить. Но что может сделать простой учитель против нацистской машины. Все меняется, когда Антон узнает о

подпольной сети Сопротивления, замыслившей покушение на Гитлера. Несмотря на опасения жены, он вступает в ряды этой армии. Но когда нацистам становится известно о деятельности Штарцмана, он вынужден решиться на последний, отчаянный акт неповиновения, который может стоить ему жизни...

Содержание

Примечание автора	6
Часть 1	7
Часть 2	93
Конец ознакомительного фрагмента.	121

Оливия Хоукер

Неровный край ночи

*Посвящается памяти нашего Ора'Йозефа
Антоня Штарцманна, 1904–1988,
а также моему мужу Полу, моей мачехе Рите и
тете Анджи, с любовью*

Серия «Звезды зарубежной прозы»

Olivia Hawker

THE RAGGED EDGE OF NIGHT

Перевод с английского *Евгении Лакеевой*

Печатается с разрешения Amazon Publishing,
www.apub.com, при содействии Литературного агентства
«Synopsis»

© Olivia Hawker, 2018

© Лакеева Е., перевод, 2021

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2022

Примечание автора

В произведении аббревиатура «НСДАП» используется для обозначения Национал-социалистической немецкой рабочей партии (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), которая также упоминается в тексте как «Партия» или «Нацистская партия». Аббревиатурой «СС» обозначаются военизированные формирования НСДАП – Schutzstaffel, «отряды охраны». Некоторые фактические данные, включая время отдельных событий, были изменены в интересах повествования.

Часть 1

Отечество

Сентябрь 1942

1

Поезд набирает скорость, оставляя Штутгарт позади. Здесь он вырос – среди длинных тенистых улиц, вымощенных вековой брусчаткой, и садов, сияющих в полуденном солнце, но теперь это уже не то место, каким Антон знал его в молодости. Штутгарт медленно приходит в упадок, нутро его обнажилось, развалы цементных блоков торчат, как кости, дома и магазины вскрыты и выпотрошены, внутренности валяются на улице. Воздух мутный от пыли, посыпающей город, словно пепел. Сколько бомб упало на город его детства? Он давно сбился со счета. Это не то место, которое он знал мальчишкой, но прежним не остался ни один уголок Германии.

Он прислоняется лбом к окну и смотрит назад. Шнурок от очков постукивает по стеклу. Если постараться и подстроиться под колебания поезда, можно разглядеть длинную черную полосу путей. Прямую, идеально прямую, как дорога на Ригу; вихрь серой и холодной цементной пыли – пыли от

бомб – пересекает ее, танцуя, изгибаясь туда-сюда, как будто есть какой-нибудь повод танцевать.

Он произвольно ощущает некое родство с этим обилием серого вокруг. Не прошло и года, как он оставил свое монашеское одеяние; серый все еще идет ему, все еще сулит безмолвный покой, даже если это цвет мертвого города. Бывали времена, когда он, облачаясь в одежду светского человека, в брюки и рубашку, говорил себе, что это не навсегда. *«Когда война окончится, – говорил он себе, – католические ордена снова будут действовать свободно. Я снова буду монахом, и все восстановится, все вернется на круги своя»*. Больше он в эту сказку не верит, не может продолжать рассказывать ее себе. Кто-то переиначил этот мир и то место, которое мы, народ Германии, некогда звали домом. Что было, то прошло, минувшего не воротить. Теперь он каждый день носит брюки.

Антон выпрямляется на сиденье поезда. На коленях у него аккуратно сложенная газета, несколько листков трутся друг об друга с сухим шорохом. Он кладет на нее руку ладонью вниз, как ложится на плечо дружеская рука или тихое благословение священника.

Последние маленькие домики на окраинах Штутгарта уплывают вдаль. Шрам города теперь позади, и здесь плоть земли цветет и плодоносит: поля вызревающего ячменя коричневеют на солнце позднего лета, скот пасется на выгоне, погрузившись в море зеленой травы или замерев в своем

и без того медленном движении к доильным стойлам, когда мимо проносится поезд. Вторжение красок и жизни, такое внезапное и повсеместное, откидывает с вагона полог безмолвия. Разговоры возобновляются – напряженные, тихие. Да и кто сейчас станет говорить громко на людях?

На сиденье за ним женщина произносит:

– Интересно, объявится ли «Белая роза» здесь, в Штутгарте?

В ответ на это раздается мужской голос:

– Тише.

– Я всего лишь поинтересовалась, – протестует женщина. – Я ведь не сказала...

– Все равно тише.

Все знают, что говорить вслух о Сопротивлении опасно. Только не в таком месте, не в тесном вагоне поезда, где каждый может услышать и никто не может спрятаться. В этой стране диссиденты расползаются из каждой темной расщелины, как муравьи. Они маленькие и шустрые, и прежде, чем их раздавят, они успеют впиться зубами в опускающуюся на них пята и оставить болезненный укус. «Белая роза» не единственная партия Сопротивления. Социал-демократическая партия Германии – СДПГ – может, и была запрещена, когда Гитлер пришел к власти, но, несмотря на тюремные заключения и убийства ее лидеров, несмотря на то, что в изгнании ее члены рассеялись по стране, полностью ее они не покинули. Союз свободных рабочих Германии не за-

был свою роль в Ноябрьской революции. Их брошюры были объявлены вне закона, – даже просто иметь такую при себе означает смерть, – но их все равно продолжают печатать и продолжают читать. Католики и протестанты, которые никак не могут сойтись во взглядах по поводу доктрины, в этом деле объединили силы. Кажется, не проходит недели, чтобы Антон не услышал о еще одной речи, публично произнесенной каким-нибудь смелым священником на площади, очередном воззвании, составленном проповедником или иезуитом, или отвергнутой, но полной решимости монахиней, в котором заключена мольба к людям Германии прислушаться к здравому смыслу, отринуть ненавистный холод, душащий голоса их сердец.

Сопrotивление повсюду, но «Белая роза», пожалуй, воплощает его наиболее полно. Это движение, организованное детьми – по крайней мере, Антон не может думать о них иначе, как о детях. Младше его вдвое и храбрее львов, храбрее, чем он когда-либо был. Молодые студенты Мюнхена вышли на улицы с листовками и ведрами краски. Они взялись за дело в июне и покрыли кирпичные стены надписями с их девизом, призывающим соотечественников сопротивляться: «*Widerstand!*» Они засыпали улицы листовками, – одному Богу известно, кто печатает эти разрушительные, смертельные бумаги. За три месяца с момента, когда эти дети поднялись и расправили плечи, настроение Антона становилось

² Сопrotивляйся (нем.).

все мрачнее, а сон все беспокойнее. Как долго продержатся повстанцы? Как только Гитлер обратит свой пустой холодный взгляд на Мюнхен, «Белая роза» увянет и исчезнет. Фюрер оборвет эти хрупкие лепестки один за другим и растопчет сапогами. Антон почти готов был бы с этим смириться, если бы речь шла о взрослых мужчинах и женщинах. Но основатели Белой розы и учащиеся, которые за ними следуют, слишком молоды, слишком драгоценны. Вся их жизнь еще впереди. Или была бы впереди, если бы в Германии у Бога было больше власти, чем у Гитлера.

В былые времена дети перед церковью пели: «Господь всемогущий, помоги мне хранить благочестие, чтобы я попал в Рай». Теперь мы повторяем нараспев в пабах и на улицах, на званых ужинах и во сне: «Господь всемогущий, помоги мне хранить молчание, чтобы я не кончил свои дни в Дахау».

После паузы женщина в поезде говорит:

– Я благодарю Господа за то, что он уберег нас от худшего. В Берлине разрушений куда больше.

– Забавно, что ты благодаришь Господа, – отвечает мужчина подле нее.

– Что ты имеешь в виду?

Антон молча слушает и смотрит, как мимо проплывают сельские пейзажи. Полоса подсолнухов пересекает поле, размеченное стогами сена. Он помнит, как мальчишкой играл среди подсолнухов, – их душистые сухие стебли, идущие ча-стоколом, шепот их листьев. Просеивающийся через листья

желтый свет. Его сестра устроила в подсолнухах домик для игр: «*Антон, ты должен быть главой дома и говорить детям: “Если не помоешь руки перед ужином, мама рассердится!”*»

– Я имею в виду, – говорит мужчина, – не стоит впутывать Бога в эту войну. Какое отношение Он имеет к этому? Только не говори мне, что думаешь, будто содеянное фюрером – это часть божественного провидения.

Женщина молчит. Антон тоже. Звук голоса сестры тает вместе с воспоминанием.

Через некоторое время женщина произносит:

– По тому, как ты говоришь, можно подумать, будто ты вообще не веришь в Бога.

Ее голос звучит так, словно она вот-вот расплчется.

Ее компаньон поспешно отвечает, поспешно защищается:

– Я лишь вот что хочу сказать: я никогда не видел Бога. Почему я должен благодарить Его за благо или винить в бедах? Человек вполне сам справляется с разрушением мира, как мы имеем возможность убедиться. В этом ему не нужна помощь свыше.

Прежде, чем Антон успеваешь себя остановить или даже подумать, он оборачивается:

– Я тоже никогда не видел Гитлера вживую, – однако я в него верю.

Пара молодая. Они смотрят на него с застывшими от неожиданности и ужаса лицами. С каждой секундой они ста-

новятся бледнее и бледнее. Женщина поднимает руку, чтобы прикрыть рот. Ее аккуратно причесанные темные волосы собраны в буклю и заколоты шпильками над гладким прелестным лбом, но страх омрачает ее красоту. Глаза мужчины расширяются, в них сквозит паника, а потом вспышка решимости, которая будто говорит: *«Я буду сражаться, так просто ты нас не возьмешь»*. Но в следующий миг на его лице застывает унылое смирение. Уголки рта опускаются, губы сжаты, крепко, словно вылитые из стали. Парень обхватывает себя руками, готовый принять все, что бы ни последовало. То, что он сказал о фюрере... что сказала его спутница о Белой розе, ее задумчивый тон, в котором сквозит надежда. В эти дни никогда не знаешь, кто слушает и доносит, а кто слушает и соглашается.

Спаси меня Боже, я же напугал их чуть ли не до потери сознания. Антон улыбается. Это дружелюбная, успокаивающая улыбка, такая широкая, что она как будто даже великовата для его узкого лица. Моментально, без какой бы то ни было разумной причины, эта улыбка успокаивает молодую пару. Он может это сделать, не задумываясь: успокоить человека, убедить, что все в порядке, что бояться нечего, что Господь благ и жизнь тоже. Есть у него такой дар. Он свободно им пользуется при всяком случае, когда это необходимо. Когда Бог наделяет тебя даром, разве не должен ты пользоваться им? *Господи, дай мне сил использовать мудро и во благо те скромные таланты, что Ты даровал мне. И*

что бы я ни делал, помоги мне делать это во имя истинной Твоей цели, а не из человеческой прихоти.

Парень скрещивает руки на груди, выдыхает и откидывается на спинку сиденья. Теперь он не смотрит на Антона, а рассматривает, нахмурившись, пробегающий за окном ландшафт. Тем не менее, Антон видит, что весь его вид отражает облегчение. К щекам приливает румянец с каждым быстрым ударом сердца. Женщина издает смешок. Она прикасается губами к кончикам пальцев, посылая Антону воздушный поцелуй. Он встал на ее сторону, а это все равно, что победить в споре. Антон пожимает плечами с извиняющимся видом – *простите, что заставил вас поволноваться* – и снова отворачивается с твердым намерением впредь не совать нос не в свое дело.

Он никогда не видел Гитлера вживую. Но как он мог не верить? Доказательство присутствует неизменно; память проходит красной нитью сквозь костный мозг, вращая в его состав навсегда.

Страна и весь мир простираются в прошлое. От суровых, бесцветных лет в Штутгарте – месте, которое все состоит из одеревеневших суставов и упрямого сопротивления Томми, – сельская местность Вюртемберга цветет и тянется к мягкой зеленой юности. За фермами и пастбищами темные лесные массивы льнут к холмам, не тронутым плугом, как будто Шварцвальд тоже намеренно пробирается на восток, оставляя разрушения и опустошения позади. Южнее Шваб-

ская Юра поднимается и опускается волнами разных оттенков синего, хребты гор теряются в сиянии низких, туманно-белых облаков. Штутгарт тоже сиял когда-то – когда Антон был еще ребенком. Он думает о детях – о тех, что живут сейчас, в ком еще теплится надежда, – его рука соскальзывает в карман пиджака, где лежат его четки. Он молится Деве Марии, перебирая пальцами бледные бусинки. Каждая бусинка, как потерянный год, потерянная жизнь, оставляет отпечаток на его коже. *Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes.*³

Поезд трясет на одном из сложных участков пути. Газета дрожит и соскальзывает с коленки, грозясь упасть на пол. Свободной рукой он поправляет ее. Ему кажется, что если бы газета приземлилась на пол, по которому прошли натруженные ноги, оставив грязь и пыль, это было бы почти святотатством. Именно эта газета вернула ему ясность мысли, способность стремиться к чему-то, силу воли, когда он уже думал, что надежда покинула его навсегда. Убаюканный качкой вагона, он дремлет, – четки в одной руке, цель приезда – в другой, – пока поезд не начинает тормозить, шипя, окутываясь облаком пара, и кондуктор не выкрикивает название станции – «Неккар и Унтербойинген».

Он выходит из поезда, вспугивая целое облако пара, напитанного жаром и угольной пылью, и надевает шляпу. Солн-

³ Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешных сейчас и в час нашей смерти.

це светит ярко в этот полдень, оно простирает свое сияние на поштукатуренное здание станции и дома внизу. Унтербойинген – настоящая деревня из сказки, дома из кирпича и штукатурки, высокие треугольные крыши, темные штрихи деревянных балок, прибитых крест-накрест под отвесными карнизами. Вот она – старая, настоящая, Германия, оставшаяся прежней с незапамятных времен, какой была до нынешних государств или Третьего рейха, до появления гитлеровской коалиции.

Молодой человек в опрятной станционной униформе подходит и останавливается возле купе наготове:

– Есть багаж, *mein Herr*⁴?

– О, да, – отвечает Антон, поколебавшись, – я боюсь, есть немного.

Станционный служащий открывает дверь багажного отделения.

– Вот этот чемодан, – указывает Антон; работник вытаскивает старый сундук с потрескавшимися кожаными ручками и изношенными ремешками. – И вон тот, у которого крышка привязана веревками.

– Тяжелый, – замечает молодой человек.

– Еще вот этот, здесь, и тот в самом конце.

Служащий подавляет свое раздражение, пока заползает на колени, опираясь руками об пол, внутрь багажного отделения. Он извлекает оттуда тяжелый сундук и дает ему всем

⁴ Сударь (нем.).

весом шлепнуться на платформу. Антон втискивает ему в руку пару монет за труды. Тогда служащий подает сигнал в сторону кабины водителя, и поезд кашляет, кряхтит и уползает прочь.

Антон стоит возле своего багажа в ожидании. Поезд удаляется, направляясь на восток. Когда он уезжает, увозя с собой свое зловонное горячее дыхания, естественные запахи Унтербойингена начинают струиться вокруг, словно поток: сухая трава, медленно бегущая вода в канавах, резкий, характерно сельский запах навоза. Вдалеке животные на выпасе вторят полому аккомпанементу колокольчиков на их шеях. Мелодия, как и положено звуку в спокойный летний день, разливается на большие расстояния через дымчатый полдень, прерываясь и ломаясь.

Кучка мальчишек вываливает на пути, шаркая и дружно смеясь, волосы прилипли к мокрым лбам. Им лет по тринадцать-четырнадцать, играют в последнее лето их детства. Они ищут под ногами кусочки сплющенного металла. Через год или два, в лучшем случае, три, они будут достаточно взрослыми для вермахта. Их отправят на службу на восточный фронт в отрядах Гитлерюгенда. Служить стране, будто страна не могла придумать ничего лучше, как посылать своих детей ловить пули где-нибудь на полях сражений в России.

– Вы, должно быть, герр Штарцман?

Густой голос принадлежит полному мужчине с маленьки-

ми темными усиками – не такими, как у фюрера, – и лысиной, сияющий сквозь клочки волос. Он лениво выходит с террасной веранды вокзала. Наверное, все движется так же медленно в деревне вроде Унтербойингена – люди, скот, навязчивые мысли, которые следуют за тобой повсюду. Полный мужчина протягивает руку, Антон пожимает ее.

– Бруно Франке, рад знакомству.

– Мой новый домовладелец, – Антон одаривает его одной из своих самых располагающих улыбок, но Франке едва ли ее замечает. – Я очень рад, что вы нашли комнату, в которой мне можно разместиться, герр Франке. Городок такой маленький. Если бы у вас не нашлось свободной комнаты, с наступлением ночи мне бы пришлось ютиться где-нибудь в свинарнике.

– Комната не слишком просторная, – отвечает Франке, искоса поглядывая на четыре дорожных сундука. – Возможно, в свинарнике вам бы больше понравилось.

– Боже правый, да ведь мне нужно будет пожить не больше недели. – Он неосознанно похлопывает по газете, плотной зажатой подмышкой.

– Я подогнал свой грузовичок. В нем достаточно места для ваших вещей, но боюсь, что не смогу помочь вам погрузить их. Мои колени уже не те, что раньше.

– Моя спина тоже оставляет желать лучшего. Ранение во время службы в вермахте. Мы прямо две старые развалины, а?

Герр Франце пожимает плечами и поворачивается к станции.

Что-то мельтешит на железнодорожных путях. Необычное для ленивого Унтербойингена оживление привлекает внимание Антона. Один из мальчиков нагнулся, чтобы поднять какой-то предмет с насыпи, горячий и черный, покрытый слоем пыли. Он поднимает вещь повыше; маленькое сокровище сверкает в солнечных лучах, и он кричит своим друзьям.

– Одну минуточку, – говорит Антон герру Франке.

Он спускается с платформы и подходит к ребятам.

– Друзья мои, – улыбается он, – как вы смотрите на то, чтобы немножко подзаработать?

Они оставляют свою охоту на сплюсненные железки. Теперь они толпятся вокруг него, глаза горят нетерпением.

– У меня тут четыре больших чемодана, которые нужно погрузить в машину, а потом отнести по лестнице в мою комнату. Кто мне поможет?

Пять мальчиков; он быстро посчитал, сколько у него было денег, которые можно спокойно на это потратить.

– Двадцать рейхспфеннигов каждому, кто поучаствует.

Мальчики ликут. За двадцать рейхспфеннигов можно купить ореховый батончик или даже немного шоколада, если знаешь, где искать. Про себя он молится лишь о том, чтобы мальчишки не потратили деньги на альбомы с наклейками, которыми правительство заполнило полки магазинов от

Мюнхена до Кельна. На каждой странице есть рамки и подписи, но нет портретов. Смысл в том, чтобы дети собирали и выторговывали наклейки, которые бы составили полную коллекцию в альбоме. Можно ли эффективнее пробудить в детях любовь к фюреру и ораве его демонов, чем сделав этих подлых созданий частью безобидной игры?

Мальчики следуют за Антоном, как щенята, толкаясь и улюлюкая, раздавая друг другу шуточные тумачи в приятном возбуждении. В миг все четыре чемодана переправлены с платформы и погружены в кузов грузовика Франке.

Франке уже ждет за рулем, выглядывая со сварливым видом из-за знака, нарисованного на двери грузовика: «Мягкая мебель от Франке».

Антон обращается с улыбкой к своему новому домовладельцу:

- Если вы не против, я поеду сзади вместе с мальчиками.
- Как вам удобнее. – Франке заводит двигатель.

Антон забирается в кузов грузовика. На миг он чувствует себя таким же счастливым и энергичным, как в тринадцать-четырнадцать лет, но это было так давно. Как и ребята, он садится на крышку чемодана. Он извлекает из кармана обещанные монетки и раздает их по кругу, а дети шикают друг на друга и вертят рейхспфенниги в черных от грязи пальцах. В этих монетках есть своего рода магия, яркий металлический блеск чего-то неожиданного: чудо, что взрослый сдержал слово, данное ребенку.

– У меня вот еще что есть.

Пока грузовик пробирается по грунтовым дорогам Унтербойнгена, Антон достает сверток вощенной бумаги из рюкзака. Он осторожно его разворачивает, и в нем оказываются янтарные куски медовых леденцов.

– Берите, сколько хотите.

Ребята быстро расправляются с леденцами.

– Эти не такие, как медовые конфетки, которые продают у нас, – говорит один, – где вы их достали?

– В Пруссии.

Теперь они смотрят на Антона с еще большим уважением, глаза широко раскрыты, щеки горят восторгом и благоговением.

– Вы военный, *mein Herr*?

– Был, – отвечает он. – Но дело в моей спине, видите ли. Это не самая страшная жалоба, но все же, – поэтому я и с чемоданами не мог сам справиться.

– Как вы повредили спину?

Они толкают друг друга локтями под ребра, ерзая и нетерпеливо ожидая рассказа. Кто может быть более великим, более мужественным, чем солдат с ружьем и гранатой? Кто может быть достойнее, чем тот, кто сражается за свое Отечество?

Он мог бы назвать тысячи тех, кто был достойнее. Но никакой педагогической пользы не было бы, если бы он начал брюзжать или пытаться бросить тень на их мальчишеские

мечты. Пятнадцать лет за учительским столом не прошли даром. Он знает, как провести урок и как сделать так, чтобы он запомнился.

Он отвечает небрежно:

– Выпрыгнул из самолета во время наступления на Ригу.

Двое из мальчишек восклицают хором: «Prima⁵!» Другой кричит: «Cool⁶!» Это словечко Томми, так бы отреагировал британец или австралиец – марионетка в руках Международного жидовства, цитируя Геббельса. Ребята несколько секунд изумленно таращатся на своего товарища, шокированные его дерзостью. Затем приходят в себя и назначают наказание: шлепок по руке, от каждого. Нарушитель принимает взбучку смиренно, лицо его при этом пылает.

Антон смеется незлобиво, когда мальчик потирает саднящую руку. Он находит последний оставшийся кусочек леденца и отдает его пареньку; обиды забыты. Однако смех теперь кажется ему непривычным. Когда он вспоминает о днях вермахта, в героизме не получается найти ни радости, ни гордости. Сердце Антона не принадлежит Отечеству, оно не заслуживает его преданности. Фюрер забрал Антона и удерживал его в армии силой. Гитлер и те несчастные проклятые души, которые следуют за ним, вырвали у него из рук монашеское одеяние и заменили его солдатской униформой. У него до сих пор перехватывает дыхание от такой несправедливости,

⁵ Класс, круто (нем.).

⁶ Классно, круто (англ.).

стоит ему подумать об этом, – так же как от каждого ужасающего поступка, от всех бесчисленных несправедливостей, которые последовали затем. И все же Антону повезло. Он лишь маршировал и палил из ружья в направлении людей, в которых он никогда не намеревался попадать. Ему не пришлось заниматься более жестокими делами, к которым его могли привлечь; никакой иной душераздирающей работы, к которой его могла принудить Партия. У монаха нет жены, нет детей – нет никакой любви, которой его можно было бы шантажировать. Нет того нежного священного оружия, которое можно было бы приставить к его виску. Единственная жизнь, которой он рискует – его собственная, потому он полезен лишь настолько, насколько может человек, невосприимчивый к тактике фюрера.

И все же он видел сожженную Ригу. Он вдыхал густой черный дым, тяжело клубящийся в горячем июльском воздухе. Он вошел в Латвию под знаменем освободителя. Он мог бы вынести потерю монашеской жизни, если бы их кампания освободила людей от гнета советской власти. рейх, однако, такого намерения не имел. Латыши, приветствовавшие немецкое вторжение, попали под гнет нового деспотизма прежде, чем крик радости успел умереть на их губах.

Дело в моей спине, видите ли. Жесткое приземление на черном поле теплой, но ветреной летней ночью. Он кувыркается, запутавшийся в стропах парашюта, а вращающийся мир оглушает его, как раскаты грома. Францисканских по-

слушников не обучали искусству парашютирования. Не самая серьезная жалоба. Он повредил спину во время прыжка, но если бы не это, он мог бы маршировать еще много миль, много дней и лет, без конца. Однако там, в Риге, под стягами дыма, со звучащими в ушах безнадежными криками женщин, он решил: никогда больше он не одолжит ни своей спины, ни своих ног, ни рук, ни сердца никакой цели, которая входила бы в планы Адольфа Гитлера.

Он солгал, чтобы избежать дальнейшей службы в вермахте. Поврежденная спина. Ложь – это грех, но Господь также заповедует: *Du sollst nicht toten* – не убий. Бог будет ему судьей – Бог, Которого он никогда не видел, но в Которого, тем не менее, верит.

2

Герр Франке не лгал, когда говорил, что комната маленькая. Места едва хватает, чтобы уместить четыре чемодана, про самого Антона уже и говорить нечего. Узкая кровать стоит напротив двери, над ней – маленькое окошко с плотной темно-синей шторой, которая сейчас отдернута, чтобы впустить внутрь немного мирного золотого света. Умывальник с висящим над ним круглым зеркалом, фаянсовый горшок под кроватью. К занавеске прикреплена записка, на которой аккуратным подчерком выведено: *Achtung! Halten Sie den Vorhang bei Dunkelheit geschlossen. Задепуивайте уморы*

с наступлением темноты.

Мальчики ушли, громко топая по лестнице, – по крайней мере, к комнате ведет отдельная лестница, – и Антон стоит посреди своего нового дома, уперев руки в бока, наклонив голову, чтобы не стукнуться об потолок, идущий под коварным наклоном. Он слышит, как внизу Франке расхаживает по своему мебельному магазину, занимаясь делами и проклятиями, которые он посылает ребенку или собаке.

Он сверяется со своими карманными часами, которые подарил ему отец на восемнадцатилетие, когда он перестал быть Йозефом Антоном Штарцманом. Он надел серую рясу своего ордена и стал братом Назарием. Никогда он не думал, что ему придется вернуть свое старое имя. И никак не мог предвидеть, что произойдет подобное: что католические ордена будут распущены фанатичным правительством. Более стоворчивые шли туда, куда указывали нацисты: монахини и монахи, и священники были вынуждены вернуться в мир, тот скучный мир, который лежал за пределами монастырей. Всех, кто не готов был договориться, ждала иная судьба. Он часто спрашивал себя: *«Была ли это трусость, так просто отказаться быть братом Назарием и снова стать Антоном? Должен ли я сражаться и умереть за мою веру?»* Долгие месяцы он был уверен, что он трус, пока не услышал глас Божий, взывающий к нему. После стольких месяцев черного безмолвия уверенность оглушила его, словно гром. Он понял, что Господь сохранил его для нового служения

и дал шанс на искупление. Господь пробудил его от долгого забвения и поднял, словно Лазаря. Сражаться и умереть это не та доля, что ему предназначена, – еще нет. Есть еще работа, которую он должен выполнить во имя Бога.

Он открывает один из чемоданов, самый маленький. Он знает, что найдет под крышкой, – он готов к этому зрелищу, – но все равно изгибы меди ранят его в самое сердце. Этот сундук, как и три других, наполнен музыкальными инструментами, которые он бережет уже семь месяцев. Они – его реликвии, последнее напоминание о том, чего он лишился. Словно кости в склепе лежат они, безмолвные и одновременно так много говорящие его памяти. Их трубы хранят эхо дорогих жизней, в отражениях, искаженных, обернутых вокруг металлических изгибов, он видит лица детей, ничего не выражающие.

Сверток одежды втиснут в угол чемодана и утрамбован на самое дно под окружностью французского горна. Он извлекает его. Сверток перевязан жизнерадостной голубой ленточкой. Это работа его сестры Аниты, жившей под именем сестры Бернадетты, пока фюрер не порвал Имперский конкордат и не плюнул в лицо Святому Престолу. Когда их ордена были по очереди разрушены, Антон и Анита побрели в дом их матери на окраине Штутгарта, ошеломленные и опустошенные, и оба не знали, что им делать дальше. Когда он встречал Аниту на станции, она вышла из поезда в зеленом платье, сдержанного оттенка, но скроенном по моде, и туфли

на ней были из лакированной кожи с острыми стучащими каблучками. Ее волосы были закручены в буклю и заколоты точно так же, как у той девушки в поезде, которая послала Антону воздушный поцелуй. Он не видел волос Аниты с тех пор, как в шестнадцать лет она отказалась от своего мирского образа. Они уже не были того золотисто-желтого оттенка, как в детстве, светлые, как водопад. Они потемнели и приобрели мягкий бледно-коричневый оттенок, напоминающий бархатистые переливы мышины шубки, и в ее кудрях мелькали полосы седины, которые отражали свет и поблескивали. Оба они теперь были старше, но Анита сохранила свою прежнюю прелесть. Ему подумалось: *«Какой хорошенькой выглядит моя сестра в одежде светской женщины»*. И тут же он почувствовал стыд, холодный и жесткий. Что за человек будет думать о прелести монахини, которую лишили общества ее сестер?

Анита встретила новую реальность со свойственной ей отвагой и азартом. *«Я была невестой Иисуса, – сказала она в тот день, печально смеясь и беря под руку своего младшего брата, – но, сдается мне, Он аннулировал нашу помолвку»*.

– Тебе не следует так шутить, – заметил Назарий – Антон.

– Не волнуйся, – она подмигнула ему, весело, совсем не как сестра-монахиня.

Он все еще не мог избавиться от своих колебаний и удивления. Он помнил, как она наклонила к нему голову, ее непривычно непокрытую макушку с пепельными завитками.

– Господь наш Иисус Христос и я, мы снова будем вместе, когда вся эта заварушка с фюрером закончится.

Антон развязывает голубую ленточку. Скромная ткань его монашеского облачения разворачивается на кровати. Анита погладила и сложила его лучший костюм, а потом завернула его в рясу, но он откладывает костюм в сторону и проводит рукой по грубой серой шерсти. Узловатая веревка, служившая ему поясом, тоже здесь, лежит, свернувшись, как спящий змей, которому снится потерянный Эдем. Он почти ощущает вес веревки, болтающейся у него на поясе. Облачение все еще пахнет школой, Сент-Йозефсхаймом, на Кирхенштрассе. Лак для дерева и пыль от мела, яблоки из сада, трубка, которую брат Назарий курил каждый вечер, когда дети уже были уложены в постели. Он чувствовал запах сладкой мирры из раскачивающейся камины и еще более сладкий запах ладошек малышей, которым он приносил конфеты из города дважды в неделю, если они были хорошими. Они всегда были хорошими.

Наверное, он тогда был слишком наивным. Совсем молодой монах, которого переполняло желание исцелить мир и непоколебимая вера в то, что он способен это сделать. Из его рук придет благословение Христа и разольется по миру, как кровь из Его священных ран. А потом это неожиданное возрождение: Антон восстал из могилы, в которую бросили брата Назария. Не так он представлял себе свою жизнь, когда впервые облачался в рясу. Но о такой жизни вообще не

мечтают. Даже Гитлер, быть может, удивлен, что продвинулся так далеко – что так просто оказалось все захватить, все уничтожить. В моменты отчаяния – а таких немало – Антон задается вопросом, думал ли Сам Господь Бог, что дело дойдет до этого?

Он разворачивает костюм. Анита, благослови ее Боже, сложила его идеально и надушила лавандой и кедром, чтобы моль не ела. Он опускает синюю занавеску, оставляя записку на прежнем месте. Полоска желтого света тянется абрисом по краю шторы. Он аккуратно переодевается в этом тусклом свете, скатывает старый костюм и заворачивает в монашескую рясу, затем убирает сверток к молчащим трубам. Неуклюжие руки силятся вспомнить, как отец учил завязывать галстук, когда Антон был еще мальчишкой. Уже почти год миновал с тех пор, как орден был распущен; за это время мужчина мог бы уже запомнить, как вязать узлы. Он хмурится на свое отражение в маленьком круглом зеркале, стараясь ориентироваться по движениям: скрестить и подоткнуть с обратной стороны, придержать верхнюю часть, пока тянешь за нижнюю. Когда он уже причесал волосы и выровнял очки на своем длинном тонком носу, он с удивлением обнаруживает, что, вопреки костюму и галстуку, из зеркала на него смотрит брат Назарий. Возможно, его предыдущая личность не мертва, как ему поначалу думалось. Не говорил ли святой Франциск: *«Мир – мой монастырь, тело мое – моя келья, а душа – монах в ней»?*

Здесь, в этой маленькой деревушке Унтербойинген, есть работа, которую нужно сделать, – хорошая работа, честная. После многих месяцев молчания и отдаления, Господь заговорил. Он призвал монаха, который не был уже монахом; он пробудил Антона ради миссии, которую Он на него возложил. Отец всех, кто лишился отца, и защитник вдов есть Господь в святой Его сути.

3

Он узнает ее сразу, как только видит, хотя они никогда раньше не встречались. Она такая же подтянутая и строгая, как ее почерк, ее манера держаться отличается тем же самоконтролем, какой можно было от нее ожидать по ее письмам. Она сидит на краю железного кресла возле небольшого стола у пекарни. Безупречный полуденный свет, золотой и насыщенный, окружает ее нимбом. В этом совершенном сиянии она выглядит опрятной и собранной – даже жесткой, ни одна складка или пуговица не выбивается. Ее платье такого глубокого синего оттенка, что кажется почти угольно-серым, линия выреза начинается высоко, украшений нет. Ее коричневые волосы блеклые, но собраны в идеально симметричную прическу, которая обрамляет и подчеркивает круглое лицо без тени улыбки. Во всем ее облике сквозит ощущение порядка, стоического контроля, которое улавливается даже с противоположной стороны улицы. Это суровая решимость

не дать развалиться миру, который с каждым днем рассыпается все сильнее.

Когда она замечает Антона, переходящего через грунтовую дорогу от мебельного магазинчика Франке, она, похоже, тоже его узнает. Взгляд женщины и его взгляд встречаются, она поднимает чашку, но забывает отпить. Она наблюдает за ним без тени эмоции, ни одна ее мысль не обнаруживает себя, пока он приближается к ней, улыбаясь. На полпути он вдруг видит себя в перевернутой перспективе, глазами этой женщины; видение, как вспышка, проносится в его сознании, и время дает крен, возвращая его к тому моменту в прошлом, когда он принял обет своего ордена, и к тому образу мышления, которое он так с тех пор и не освоил. Он тогда был молод, а когда люди молоды, они представляются себе прекраснейшими творениями Бога. Сейчас, когда ему тридцать восемь и эти глупые убеждения остались позади, он испытывает содрогание от осознания того, что ему, пожалуй, немножко не хватает привлекательности. Очень высокий, с самыми светлыми волосами и самыми голубыми глазами, какие фюрер мог бы пожелать, сам он теперь находит эти характеристики своей внешности воплощенным укором; они – ежедневное напоминание о том, что его сочли достойным жизни, в то время как других осудили как неподходящих для этого. Его лицо такое же узкое и вытянутое, как его тело. Его глаза слишком близко посажены; это впечатление чуть смягчают круглые очки, однако, вместе с тем, они при-

влекают внимание к носу, на котором громоздятся: большой и изогнутый, он явно великоват для такого узкого лица с деликатными в остальном чертами. Но его глаза...покажутся ли они ей отталкивающими? Анита, бывало, дразнила его: «*Давай-ка я втисну палец между твоими глазами, мальши Антон, и оттолкну их подальше друг от друга?*» Когда он сглатывает комок этого неожиданного страха, его сильно выступающий кадык неприятно упирается в узел галстука. По крайней мере, у него в запасе есть его обычная обезоруживающая улыбка. Хотя бы такое небольшое утешение.

Когда ему удастся дойти – вернее, доковылять через поток этих пугающих опасений, которые словно путами обматывают его лодыжки, – до ее столика, Антон приветственно приподнимает шляпу: «Добрый день, *meine Dame*⁷. Вы, слушаем, не Элизабет Гансйостен?»

Она моргает один раз.

– Я Элизабет Гансйостен Гертер. – Голос у нее чудесный, ровный и глубокий, пусть даже она пользуется им как мечом. Она наклоняется, чтобы пожать руку Антону. – Вы Йозеф Штарцман?

– Да, но, пожалуйста, зовите меня Антоном.

Она жестом приглашает его присесть на другое кованное железное кресло. Онемевший, с колотящимся сердцем, он садится.

– Еще раз спасибо, что откликнулись на мое объявление.

⁷ Сударыня (нем.).

Она поднимает чашечку, перемещает ее из одной руки в другую и снова ставит на стол. Он никогда прежде не видел женщину, которая так владела бы собой, но чашка выдает ее затаенное беспокойство, – тем, как она переходит из руки в руку, а количество содержимого не уменьшается.

Он снова улыбается, изо всех сил стараясь успокоить Элизабет.

– Не стоит. Я, кстати, взял с собой ту самую газету.

Он извлекает ее из-под пиджака и кладет на стол между ними – католическое издание «*Esprit*», которое он вез с собой из Штутгарта. Газета заметно тоньше, чем в предыдущие годы, – экономия бумаги, не говоря уже о подавлении голосов католиков, – но, по крайней мере, аккуратно сложена.

– Просто на случай, если бы я вас тут не нашел, и мне пришлось бы доказывать, что я не сумасшедший, всем тем женщинам, к которым бы я обращался. «Простите, вы не Элизабет? А вы не Элизабет?» – он смеется.

Ее плотно сжатые губы дают понять, что повода для шуток нет.

– Почему бы вам не найти меня здесь?

Он перестает смеяться; он почти благодарен за повод прекратить.

– Не важно. – Он предпринимает еще одну попытку обаять ее своей улыбкой. Рано или поздно это сработает. Он в этом убежден. – Я рад, что вы согласились встретиться со мной.

– Это я рада, – отвечает она скорее деловым тоном, нежели благодарным, – вы проделали такой путь.

– Поездка на поезде была приятной. Деревня прекрасная. Чудесный сельский уголок. Вы, конечно, упоминали это в тех двух или трех письмах, которыми мы обменялись, но я не мог оценить прелесть этого места, пока не увидел его сам.

– И вы нашли, где остановиться?

«*На случай, если я все-таки приму решение не в вашу пользу*», – говорит ее резкая манера вести разговор.

– Да, господин Франке сдал мне комнатку над магазином.

Только теперь наконец выражение ее лица смягчается – лишь на миг, когда один уголок ее рта слегка поднимается. Это очень неопределенная улыбка, и в ней есть какая-то болезненная веселость. Но даже она показывает крошечный просвет в сплошной броне, и даже столь слабая разрядка напряжения успокаивает Антона.

– Бруно Франке? – уточняет она. – Бруно Möbelbauer. Так его зовут дети.

Прозвище означает «Мебельщик» и располагает к себе своей простотой.

– Ваши дети... Расскажите мне что-нибудь о них, пожалуйста. Вы, конечно, упоминали их в письмах, но мне хотелось бы знать больше.

Он уже принял решение полюбить этих *Lieblinge*⁸, оставшихся без отца, несмотря на то, что почти ничего ему не бы-

⁸ Здесь: милых/славных малышей (нем.).

ло известно об их характерах.

Большинство женщин оживляются, когда речь заходит о детях – неважно, их собственных или чужих. С Элизабет этого не произошло. Она бесцветным голосом перечисляет их характеристики, будто читает список предметов для погрузки. «Альберт, одиннадцать лет, умный и любознательный, всегда ко всему подходит вдумчиво и с добротой. Полу девять лет. Он очень милый и помогает мне, даже если я его не прошу, но он часто попадает в неприятности, поскольку еще очень мал и не все понимает. Марии шесть, как я уже говорила. Но я, кажется, не сказала вам, что она самая озорная девочка, какую когда-либо создавал Господь». Ни тени материнской гордости, хотя она, должно быть, любит детей без всякой меры. Только любовь могла толкнуть ее на то, чтобы дать объявление. Женщина, лишившаяся всякой радости, почти лишившаяся надежды. Она исчерпала идеи и силы. Все происходящее вымотало ее: война, бомбежки, длинная полоса тягот без единой передышки. И эти истории, которые все мы слышали, о переводах из лагерей для интернированных в места более мрачные. Места истребления – Хелмно и Треблинка, Собибор и Освенцим. Боже милостивый, как будто айнзацгруппы недостаточный позор для народа.

Элизабет нуждается в его помощи. Эти дети нуждаются в его помощи – Альберт, и Пол, и маленькая Мария. Антон никогда не отворачивался от нуждающегося ребенка, кроме

как под прицелом ружей эсэсовцев. Кроме как когда СС довели его до непростительной трусости.

– Их отец, – спрашивает Антон осторожно. – Это война..?

Ее лицо становится пустым, как побеленная стена. Она распрямляется на кресле, плечи расправлены под прямым углом, руки сложены на столе с подчеркнутой точностью.

– Нет, не война. Заражение крови унесло его жизнь.

– Мне жаль это слышать.

Он ждет, чтобы она могла сказать больше, но она лишь смотрит на него, молчаливо и строго. Очевидно, что она ни слова больше не скажет о герре Гертере, ее первом муже. Антону придется довольствоваться ее молчанием.

– У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы?

– Да, – говорит Элизабет.

Теперь, когда они преодолели неудобный факт вдовства, она снова поднимает чашку. В этот раз она пьет, долго, утоляя жажду; чай остыл достаточно, чтобы допить его за раз.

– В письме вы говорили, что были братом францисканского ордена.

– Так и есть.

– И вы покинули орден, потому что...

Он улыбается.

– Это было не мое решение.

– Конечно.

Она вспыхивает, и румянец на ее щеках не оставляет и следа от прожитых лет и пережитых тягот, проявляя яркий,

но хрупкий портрет девушки, которой она когда-то была. Она как мягкий белый срез древесины, обнаженный ножом резчика – жесткие верхние слои спилены, шрамы и оставленные непогодой отметины на миг исчезли. Внутри лишь нежность, трепетная и прелестная.

Она говорит:

– Простите, *mein Herr*. Я спросила это, не подумав.

Он отвечает беззаботным смехом. Звук смеха заставляет ее удивленно приподнять брови и, быть может, поднять ее дух.

– Вы не расстроили меня, Элизабет. Если нам суждено пожениться, надо, чтобы нам было комфортно друг с другом. Мы должны говорить свободно.

– Если так. Да.

Она берет в руки газету, открывает ее на страницах с объявлениями. Антон наблюдает за тем, как она читает текст, который разместила там три недели назад. Это мольба о милосердии и облегчении, вырвавшаяся в момент, когда отчаяние взяло верх, и отправленная в мир, слишком истерзанный, чтобы проявить заботу. Она снова краснеет, как будто впервые видит свое бедственное положение чужими глазами – глазами Антона и других мужчин, которые случайно наткнулись на ее обращение, но не были им тронуты.

Что касается Антона, то он перечитал объявление Элизабет столько раз, что запомнил его на зубок, как святое писание.

Честная христианка, вдова, мать троих детей. Ищет скромного, терпеливого мужчину, который хотел бы стать отцом ее детям. Только законный брак. Денег у меня нет, так что тем, кто надеется извлечь выгоду, просьба не беспокоить. Должен быть готов переехать в Унтербойинген, Вюртемберг, поскольку нам противопоказан переезд по причине здоровья.

Она откладывает газету и смотрит на него – пристально смотрит, оценивая его пригодность к наначенной роли, стараясь угадать его мотивы. Пауза затягивается, беззвучная, если не считать лязга сковородок где-то внутри пекарни и отдаленного приглушенного кудяхтанья из двора, по которому бродят куры. Элизабет совершенно спокойна, она мыслит ясно и критически. Она мысленно задает себе вопросы, о которых ей стоит подумать; Антон почти слышит ее мысли. Сделала ли я глупость? Привела в движение что-то, что не смогу остановить? Он мне чужой; что за мать отдаст судьбу своих детей в незнакомые руки? Но, Пресвятая дева, у меня едва ли есть выбор.

Когда она вновь решается заговорить, то задает Антону вопрос, который он не ожидал:

– Буду ли я наказана за это, интересно?

– Наказана? Я не понимаю.

Она опускает взгляд и вертит чашку на блюдце.

– Это же что-то вроде проституции, вам так не кажется?

Пораженный, он едва сдерживается, чтобы не рассмеять-

ся.

– Определенно, мне так не кажется. В объявлении вы ясно указываете, что вас интересует законный брак. Бог не считает женитьбу грехом, *meine Dame*⁹.

– Но он может счесть грехом этот брак.

Она говорит так тихо, что Антон едва улавливает слова. Он думает, что, быть может, они ему и не предназначались. Он говорит мягко:

– Что вы имеете в виду?

Элизабет решительно выпрямляется. Она поднимает лицо и встречается взглядом с Антоном, она смотрит открыто и прямо.

– Я не скрываю, что ищу мужа только ради его денег.

– Времена тяжелые, Элизабет. Мы все делаем то, что должны.

– Даже такое? Не захожу ли я слишком далеко, предлагая... то, что дает каждая жена... ради денег? Да и потом, я все еще...

Она резко замолкает и опускает взгляд, но Антон успевает заметить быстрое мерцание капельки на ее ресницах.

– Вы все еще любите мужа, – догадывается он.

Элизабет не вздрагивает от его слов. Она лишь кивает, спокойно, стоически.

– Да. И поэтому я задумываюсь, не совершаю ли я грех, не распутство ли это – выходить замуж под ложным предлогом.

⁹ Сударыня (нем.).

Антон улыбается, ее слова развеяли его беспокойство или развеселили его – или и то, и другое. Он сразу понимает, как успокоить ее метущийся ум, и только сейчас, когда он находит решение, как разрешить тревоги Элизабет, он различает свой собственный смутный бесформенный страх, который проник в его душу в самом начале переписки со вдовой. Гитлер мог отнять у него рясу монаха, но брат Назарий все еще живет в сердце Антона. С восемнадцати лет он жил согласно обету целомудрия. Возможно, если бы он покинул орден по своему желанию, ему легче было бы представить, чем занимаются мужья и жены. Он мог бы представить, как сам вовлекает сколько угодно женщин во всевозможные варианты распутства и проституции. Но это был не его выбор, и он не хочет расставаться с образом жизни, который он вел среди братьев францисканцев.

– Вам не о чем беспокоиться, – говорит он поспешно. – По правде, я... я не способен к...

Он откашливается. Элизабет снова приподнимает бровь. Она смотрит на него молча, ожидая объяснений, но страх уступает место любопытству.

Антон предпринимает еще одну попытку:

– Я не могу иметь детей.

Технически это правда. Раз у него нет желания вступать в связь – раз в душе он все еще монах, связанный обетом – то это не считается ложью.

– Понимаете, я был ранен во время вермахта.

Пусть думает, что ранение сделало его недееспособным в этой области, если так ей будет легче. От этого ничего не изменится; она никогда не узнает правды. Элизабет нужен партнер и защитник, а не любовник. Антону нужно искупление грехов. Каждый из них может дать другому то, что тот ищет; нет нужды усложнять их соглашение обстоятельствами, которые для обычных мужа и жены присутствуют как сами собой разумеющиеся.

– Понимаю, – к Элизабет вернулась ее деловая манера разговора, и часть краски вернулась на ее щеки. Перспектива делить дом и постель с бывшим солдатом импотентом кажется ей привлекательной.

– Потому я и искал такого рода союз, – поясняет Антон. – Вдова, честная женщина с несколькими собственными детьми – больше детей она не будет ожидать от меня, так ведь? Девушка, которая никогда не была замужем и не знает радостей материнства, не захочет иметь мужа с моими... ограничениями.

– Но если вы, – ее щеки снова покрываются краской, когда она пытается подыскать подходящее слово, – не можете... то зачем вообще жениться?

– Я уверен, что брак может дать куда больше, чем *это*, – отвечает он со смехом. – Я ищу то же, что и все люди: цель. Я хочу быть полезным – хочу сделать что-то хорошее, прежде чем Господь призовет меня.

Элизабет кивает. Похоже, она понимает. Она говорит еле

слышно:

– Святые заступники знают, сейчас огромный дисбаланс хорошего и плохого, – затем она неожиданно выпрямляется и меряет Антона тяжелым взглядом. – В одном из писем вы сообщаете, что не являетесь членом Партии.

Он слегка кивает в знак согласия, положив руку на сердце.

– А были когда-нибудь? Можете стать в будущем?

Он говорит тихо:

– НСДАП лишили меня моего места в мире. Они распустили мой орден, закрыли мою школу – и многое чего еще совершили, помимо этого. Я никогда не буду верен Партии. Если вас это беспокоит...

– Это не беспокоит меня, – мгновенно отвечает Элизабет.

И потом она улыбается – это первая ее улыбка. Она не очень широкая, задумчивая и скованная, но она так идет ее круглому личику.

– Похоже, в вопросах политики мы с вами совпадаем.

– Похоже на то.

– Я не эксперт в вопросах брака, но мне думается, что это даст нам небольшое преимущество – шанс на успех.

– Если вы удовлетворитесь тем, чтобы быть...ну, скажем, компаньоном...

– Это меня совершенно устраивает, пока я могу приносить пользу.

Пока я могу найти прощение. Шанс сделать все правильно – защитить тех, кто не может защитить себя сам, как

я должен был сделать, когда Господь впервые дал мне такую возможность.

– В таком случае, я... я...

Элизабет делает глубокий вдох, прижимает руку к животу, как будто пытается подавить приступ тошноты. Она не готова произнести это, еще нет. Она не может так легко отпустить прошлое. Да и кто из нас мог бы? Все, что с нами было, следует за нами попятам. Пока мы движемся сквозь наши жизни, наши будничные привычные дела, мы также следуем призрачными тропами нашего прошлого.

Он вежливо предоставляет ей время и молчание, чтобы она могла собраться с мыслями, могла дать своему сердцу принять выбранный путь. Он изображает интерес к нескольким мужчинам через дорогу, которые медленно идут мимо текстильного магазина (он уже давно закрыт, краска на вывеске шелушится), их плащи накинуты на плечи, под мышками темные круги пота. Антон не может удержаться, чтобы не прищуриться, как будто это поможет ему заглянуть сквозь плоть и кости, сквозь нейтральный фасад, которым мы все вынуждены прикрываться, в их сердца и души. Кто эти мужчины на самом деле? Если уж на то пошло, кто Элизабет? Даже в тихом Унтербойингене нельзя быть до конца уверенным или излишне осторожным. Нет ни одного места, которое не затронула бы болезнь. Гитлер распространил ненависть в воздухе над всей Германией; невозможно определить, у кого гниль внутри, кто поддался черной лихорадке.

Краем глаза, пока он рассматривает тех мужчин, он продолжает видеть Элизабет. Она заполняет весь мир. Ее присутствие неотступное, довлеющее надо всем – требовательное, поскольку связано с крайней нуждой. Его внимание концентрируется на бледной окружности ее лица, тщательно причесанных волосах, ровной полосе пробора, розовеющей в солнечных лучах. То, что она привлекла его внимание и удерживает, для него легкий сюрприз. Сколько времени прошло с тех пор, когда он последний раз так смотрел на женщину? Двадцать лет? Даже будучи монахом, он оставался мужчиной; воздавать должное тому, что создал Бог, не грех. Но в те дни романтике не было места. Ни одна женщина не могла лишиться брата Назария сна, – подобные терзания не сочетались с укладом его жизни, – и если образы женской красоты и преследовали его в мыслях, когда он должен был бы вместо этого сосредоточиться на четках или Крестном пути, то не чаще, чем воспоминании о розовом саде или особенно волнительном музыкальном отрывке. Двадцать лет celibата оставили его не подготовленным для встречи со своим сердцем. Элизабет по-своему привлекательна. Немного моложе него. Особенной красотой она не отличается, но если бы ее глаза не были бы такими опустошенными, а рот не был бы так плотно сжат, она была бы почти прекрасна. Внешняя красота, однако, не обладает истинной ценностью – ни для Бога, ни для Антона. Пусть он знает ее совсем мало, он не может не восхищаться ее мужеством, ее волей, ее несокру-

шимой верой, крепкой, как замковые стены. Он жаждет сделать так, чтобы этот брак сработал, при условии, что и она жаждет этого. При условии, что Бог простит ему его ложь – уже вторую за этот день. С этой женщиной с тяжелым взглядом он сумеет обрести искупление. В этом он уверен. И ей он может принести благо; в одной упряжи им легче будет продвигаться по колею жизни.

Но Элизабет все же колеблется. Ее рука лежит неподвижно подле чашки, пальцы сжаты в кулак с такой силой, что аккуратно подстриженные ногти впиваются в кожу ладони, оставляя белые следы там, где отливает кровь.

– Вы не обязаны давать ответ прямо сейчас, – говорит Антон.

– Мне следует принять решение. Вы проделали большой путь, чтобы встретиться со мной. – Снова пауза. Она смотрит в чашку, задумчиво или смущенно. – Но вам сначала нужно встретиться с детьми. Если они не примут вас, смысла продолжать не будет.

На миг эта мысль потрясает его, – снова встретиться с детьми, – но он отгоняет от себя страх. В конце концов, это то, ради чего он и приехал в Унтербойинген.

– Я очень хочу познакомиться с детьми. Когда я еще был монахом-францисканцем, я был учителем, – кажется, я говорил об этом в письмах. Дети дороги мне, и я льщу себе надеждой, что я был им полезен.

В пекарне он покупает коробочку печенья «Hausfreunde».

Медленно идя рядом, Антон и Элизабет пересекают центр Унтербойингена, разговаривая и откусывая от масляных печений на ходу. С каждым кусочком печенья Элизабет смягчается. Говорят, пусть к сердцу мужчины лежит через желудок, но это так же верно и для женщины. Она медленно слизывает шоколадную заливку со своей порции «*Hausfreunde*», растягивая удовольствие.

– Я так давно не ела шоколада.

– И я тоже.

– У меня такое ощущение, что я и так ем слишком быстро, а мне хотелось бы запихнуть печенье целиком в рот и проглотить разом. Кто знает, когда нам снова выпадет шанс угощаться шоколадом? Просто чудо, что он был сегодня у нас в пекарне. Поставки здесь, в Унтербойингене, нерегулярные вот уже несколько лет, – не только сладостей, а вообще всего, с тех самых пор, как война началась.

– Полагаю, в Берлине сейчас найти шоколад проще, но ненамного.

Она откусывает маленький кусочек:

– Вы слишком много заплатили за них.

– Может быть, – отвечает Антон со смехом, – но оно того стоило, вы не считаете? Как бы то ни было, дети будут рады небольшому угощению.

Она некоторое время разглядывает печенье, критически и строго, с таким же выражением лица, с каким там, возле пекарни, она оценивающе рассматривала герра Штарцмана.

– Абрикосовый джем в начинке... он сейчас не такой, как был раньше. В этой пекарне его готовили иначе, когда мы только переехали в деревню.

– Я предполагаю, что они добавили в него мед, – говорит Антон. – У них, должно быть, закончились белые талончики на получение сахара.

– Уверена, что вы правы. В Унтербойингене, по крайней мере, много ульев, там, в полях. К зиме у нас могут истощиться запасы угля, но пить несладкий чай нам не грозит.

Ему нравится ее голос. Он полновзвучный и уверенный; густые, но сдерживаемые нотки тонкого юмора добавляют вариаций предсказуемой мелодии убежденного здравомыслия. Музыка всегда была его родным языком, с тех самых пор, как в десять лет он самостоятельно научился играть на церковном органе. Пятничным вечером он давил ногами на огромные педали, руки неуклюже перебирали по пожелтевшим клавишам слоновой кости, а священник в это время снимал паутину по углам нефа и выкрикивал: «Отлично, Антон! Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь!» У его родителей не было денег, чтобы оплатить уроки, но Бог всегда откроет путь тому, кто тверд в сердце своем.

– Похоже, эта деревушка неплохо держится, – говорит он. – Настолько, насколько можно надеяться в такие времена. По сравнению с городами, которые я видел, – Штутгартом, Мюнхеном.

– Да, – она издает короткий, неуверенный смешок. – Мне

всегда нравилась городская жизнь, и мне казалось, что застрячь здесь, в Унтербойингене, будет тяжким испытанием – настоящим проклятием. Но, видите ли, у Пола слабые легкие; городской воздух не для него. А с тех пор, как началась война, жизнь в деревне видится мне благословением. Никогда не думала, что буду так это воспринимать.

Сомнительные чудеса, произведенные войной.

Она продолжает:

– Есть нечто прекрасное в этой деревне и в общине, которую мы создали. Нечто богоугодное. В городе на нашу долю выпало бы больше бед – постоянно нечего есть, постоянно бомбежки. Мои дети голодали бы. Во всей Германии не нашлось бы достаточно продуктовых талонов, чтобы у Альберта не было пусто в желудке, не нашлось бы достаточно пайков, чтобы накормить растущего мальчика. Но здесь у нас есть коровы и козы, дающие молоко, и много яиц. В полях полно картофеля и лука. А то, что мы не можем вырастить сами, мы выторговываем. Здесь каждый выращивает чуть больше, чем необходимо семье, печет немного больше хлеба и режет на одну курицу больше, чем требуется. Нашими скромными излишками мы обмениваемся друг с другом. Таким образом, никто не страдает.

– Я понимаю, о чем вы, – говорит он.

Нечто богоугодное. Несомненно, такой Господь и предполагал жизнь для человечества: соседи любят друг друга, все братья, и каждый в безопасности.

– Странно думать, что мы здесь бережем друг друга, тогда как остальной мир...

Ее фраза обрывается на полуслове. Она забыла о недоеденном печенье, которое продолжает держать в руке. Странно, что любовь вообще способна давать ростки в мире, погрузившимся во тьму и наполненным парами ненависти. Неохотно Антон позволяет себе произвести подсчеты. Пятьдесят четыре тысячи мертвых лишь за прошлый месяц – и это лишь количество немецких солдат. Бесчувственные цифры, холодные и неумолимые, лишённые эмоционального заряда настолько, что почти простительным кажется проглотить их за утренним чаем с тостом так же спокойно, как, скажем, сводки о состоянии акций, которыми не владеешь. Подсчетов смертей гражданских нет, – по крайней мере, нет надежных цифр. Само собой, нет и никаких отчетов о том, что творится в концентрационных лагерях, как будто эти удобные опущения способны скрыть от граждан и от Бога грехи, совершаемые Партией. Пресса почти не сообщает о потерях со стороны противника, но когда читаешь очередной кричащий заголовок вроде *«Блицкриг! 5 500 тонн сброшены на Лондон, британцы поставлены на колени!»*, можно себе представить.

Но британцы не сломлены, не так ли? А теперь, после бомбежек флота в Перл-Харбор в прошлом декабре, даже осмотрительные американцы оказались вовлечены в военные действия. Вот новость доходит до Мюнхена. Какой-нибудь муж-

чина ниже надвигает шляпу на лицо, прячась под ее полями. Он бормочет: *«Начнем с того, что никто и не собирался бомбить Лондон. Этот идиот фюрер ничего нормально сделать не может»*. Потом слышишь новости в Штутгарте, когда они передаются из уст в уста среди развалин церкви, вокруг которых дым и пыль еще поднимаются, как фимиам, к Небесам. рейх подавляет и порабощает истину. Рейх открыто лжет, но что нам с этим делать? Газеты, как побитые собаки, готовы в любой момент обдуться и съежиться. Репортеры, чуть что, делают стойку и ждут подачек. Хозяин требует по щелчку пальцев демонстрации верности. Но чего мы ожидали? Все представители прессы, не подконтрольные Партии, испарились уже к 34-му. Редакторы и журналисты, которые не прошли проверку на расовую чистоту, были объявлены врагами государства. Те из них, кто не сумел предугадать, что надвигается, и не сбежал во Францию или Канаду, встретили свой конец в Дахау, волоча скованные кандалами ноги по предрассветному снегу. Правдой не накормишь детей. От полноты картины не согреешься.

Они минуют ферму. Пегие и крапчатые куры бродят, почесываясь, во дворе и кудахчут, когда затевается свара из-за найденного червячка. Элизабет смотрит на птиц, пока ферма не остается позади. Потом она снова переводит взгляд на дорогу, которая расстилается перед ними.

– До весны, – говорит она, – я работала в центре снабжения продовольствием. Там, кроме меня, было еще пять-

десять женщин или около того; они съехались из всех деревень в Неккаре. Каждая из нас отвечала за сбор коробочек с еженедельным рационом, распределяясь по видам продуктов. Одна резала засоленную свинину на куски нужного размера, другая раскладывала солонину по коробкам, третья клала в них масло, четвертая – сыр, джем, муку, сахар и так далее. Я отвечала за яйца. Для каждой из нас была определенная квота на случайно загубленные продукты. С этим ничего не поделать: изредка даже самый аккуратный человек может уронить немного сыра или горшочек с вареньем. Но я ни разу не уронила ни единого яйца; я просто не могла себе такого позволить. Эти яйца были слишком ценны. Но я каждый день отмечала их в своем бланке – те единицы продукта, который по статистическим ожиданиям я могла уронить, яйца, которые мне позволено было потерять. Когда никто не видел, я прятала лишние яйца в карманы юбки.

– Для ваших детей? – догадывается Антон.

Она награждает его взглядом, который мог бы убить на месте.

– Мать Божья, нет. Надеюсь, вы не считаете меня эгоисткой, господин Штарцман. В конце дня, до того, как приезжали водители и грузили коробки в свои грузовики для доставки, я прятала лишние яйца в пайки семей, которые особенно нуждались. Тем, у кого были маленькие дети и которые остались без отцов, или где были больные малыши, или матери, которые были доведены до такого отчаяния, что

не имели сил продолжать действовать так, как должно – как должно действовать всем нам.

Она резко переводит взгляд и смотрит себе под ноги, не произнося больше ни слова. Он удивляется ее внезапному молчанию, но потом видит, как покраснели ее щеки, а полные решимости глаза сузились. Она рассказала слишком много этому незнакомцу, человеку, с которым она познакомилась лично всего час назад, но за которого собирается выйти замуж, если на то будет воля Божья. Она впустила его в свое сердце. Такую ошибку она нескоро повторит.

Она ведет его вперед по дороге, изборожденной колеями. Розовые алтеи клонятся вдоль плодородных канав, покачивая колосьями отцветающих цветов, последняя милость лета. Среди алтеев раскинулся старый сад, кривые ветви гнуться под тяжестью плодов, а за деревьями белеет оштукатуренный фермерский дом, нижняя половина которого сложена из кирпича.

– Это ваш дом? – спрашивает Антон, приятно удивленный.

– Нет, – отвечает она извиняющимся тоном. – Здесь живет фрау Гертц, наша домовладелица. Она сдает нам старый дом на задах участка – тот фермерский домик, который был построен изначально и которому уже, по крайней мере, сто лет – там-то мы и живем.

Теперь за блестящей листвой яблонь он различает старый дом. Возраст и традиция сквозят в его практичной просто-

те. Острая крыша, слишком маленькие окошки, дерево, потемневшее за годы почти до черноты. Дом возвышается над поверхностью земли, так как стоит на толстых деревянных сваях. Первый этаж окружает стена из камня и извести; голубой дневной свет и тень цвета умбры делят пространство между верхом стены и низом дома.

Элизабет проводит его под потрескивающими, полными сладости ветвями яблонь. Трава, доходящая до икр, щекочет край ее юбки, а когда она наклоняет голову, чтобы пройти под низко висящими ветками, движение получается неосознанно грациозным. Воздух вокруг нее приправлен солнцем, и влагой, и насыщенными ароматами спелых фруктов. Они приближаются к старому дому. Что-то тяжелое движется среди теней от свай под домом, и в дыхании легкого ветерка доносится медленное ритмичное тяжеловесное копошение – звук отдыхающих, жующих животных. Он вглядывается в прохладную темень за каменной стеной. Две белые козочки смотрят на него в ответ и обнадежено блеют. Принадлежащая семье дойная корова, бледная и с мягким взглядом, дремлет, полулежа.

Элизабет, смущенная этой деревенской безыскусностью, нетерпеливо стряхивает семена трав, прицепившиеся к юбке.

– Понимаете теперь, что я имела в виду, говоря, что сельская жизнь казалась мне адом. Так жили крестьяне, не правда ли? В стародавние времена. Сейчас это кажется нам смеш-

ным. Сейчас ведь двадцатый век, а не Средневековье. Но на самом деле, грязи меньше, чем может показаться. Навоз из хлева стекает по желобу с пола в *Misthaufen*, навозную яму, вон туда.

Канавка идет по периметру с внутренней стороны постройки, прикрытая наскоро сколоченной крышкой из планок. В северном углу дома, где у *Misthaufen* имеется слив, цветущие растения густо разрослись и перемешались. Запах, конечно, чувствуется, но, как ни странно, он не вызывает неприятных ощущений. Котловина с навозом и животные, густая зелень разросшихся трав – вместе они создают запах времен, которые давно прошли, миновали века назад. Стародавние времена, как выразилась Элизабет. Этот запах пробуждает в нем приступ *Sehnsucht*¹⁰, сладкую боль тоски по временам, которых он никогда не знал. Были времена, когда не было войны. Были времена, когда немцы могли гордиться тем, кто мы есть.

– Мне нравится ваш дом.

Элизабет торопливо отзывается:

– В зимнее время животные дают немало тепла. Думаю, поэтому дома так и устраивали раньше, когда еще не было угольных печей.

– Это хитроумная система.

– Мы жжем уголь только в самые холодные ночи. Благодаря этому остается достаточно, чтобы еще и торговать. Бог

¹⁰ Тоска (нем.).

дарует всевозможные неожиданные милости.

Она улыбается. Антон не может определить, есть ли в улыбке горечь. Элизабет складывает ладони рупором и выкрикивает:

– Дети, я дома! Спускайтесь!

В следующий миг раздается топот ног по невидимой лестнице. Этот сбивчивый, нетерпеливый, радостный грохот потрясает Антона до глубины души. Последний раз, когда он слышал, как дети бегут просто ради удовольствия, был, когда он еще преподавал в Сент-Йозефсхайме, сидел в тенечке и покуривал трубку. Мальчики носились круг за кругом, преследуя друг друга, задыхаясь и хохоча. Мяч медленно откатился в сторону в пыли, забытый вместе с правилами игры, которой брат Маттиас пытался научить ребят. «Не принимай это близко к сердцу, – говорит Антон Маттиасу. – Некоторые из этих мальчишек мало что понимают, кроме любви. Но любовь – это все, что им нужно».

Дети – настоящие живые дети – появляются из-за угла дома. В их движениях чувствуется свобода и веселость, которая принадлежит по праву всем детям, но в их улыбках сквозит неясное напряжение. Дело в войне, которая подавляет всех нас, или они все еще не оправились от потери отца? Он пока ничего не знает об их горе – ни насколько оно недавнее, ни как долго они страдали.

У маленькой девчушки, Марии, на щеке размазано красное варенье, а ее желтые волосы спутаны. Она бежит к ма-

ме, но старший из мальчиков ловит ее за руку и останавливает. Он вытирает ей щеку своим платком, пока Мария хнычет и отбивается. У Альберта лицо такое же серьезное, как у его матери. Он наклоняется к сестре, нахмурившись. Пол маячит у них за спинами, пинает носком ноги камушки и разглядывает Антона с любопытством и настороженностью. Колени у него костлявые и розовые, его шортики слишком коротки, они явно не успевают за девятилетним мальчиком, который растет так быстро.

– Этой мой Альберт, – говорит Элизабет формальным тоном, – а за ним – Пол. И моя дочь Мария.

Альберт разворачивает Марию так, чтобы она стояла лицом к матери и Антону. Девочка капризно вертится, стараясь высвободиться из хватки брата, пока он не отпускает ее плечи, но она тут же отрывисто поворачивается к нему, обхватывает его шею руками и встает на цыпочки, чтобы чмокнуть его в щеку. Альберт улыбается ей, смущенный, но довольный.

– Это герр Штарцман, – говорит Элизабет детям, затем колеблется. – Он, как бы сказать... мой новый друг.

Антон садится на корточки и открывает коробку с печеньем:

– Смотрите, что у меня тут. Хотите?

Мария тут же подбегает к печеню, хватая по одному в каждую руку и начинает хрустеть. Шоколад немедленно оказывается на щеках, как варенье, которое ее брат только что

оттер. Мальчики не так торопятся – может, из вежливости, может, из опаски, – но при виде «*Hausfreunde*» их глаза тоже загораются. Пол сразу отходит назад, как только берет печенье, но при этом широко и открыто улыбается.

– Я очень рад с вами всеми познакомиться, – говорит Антон.

– Я тоже счастлив с вами познакомиться, герр Штарцман. – Альберт протягивает ему руку для рукопожатия, как научила мама.

– Можешь звать меня Антоном, если хочешь.

Альберт бросает взгляд на мать. Такой спокойный ум в его глазах, в напряжении скул и веснушчатых щек. Он не спеша откусывает от печенья, потом произносит:

– Но вы ведь не из Унтербойингена, герр Антон.

– Ты имеешь в виду, что ни разу меня здесь не видел?

Пол кричит в ответ:

– Мы знаем всех в Унтербойингене! Можно мне еще печенья? Мария взяла два.

Антон снова открывает коробку.

– Вы правы, я здесь новенький. Я вырос в Штутгарте, но много лет работал в Мюнхене, так что и этот город стал моим домом, так же, как Штутгарт.

– Но почему вы приехали сюда? – допытывается Альберт.

Элизабет тихонько на него шикает. Вопрос сам по себе не грубый; возможно, она опасается ответа, который может дать Антон.

– Из-за войны, – предполагает Альберт рассудительно.

– Именно так.

Уперев руки в бока, Мария кричит Антону, глядя снизу вверх:

– Дайте мне померить ваши очки, герр!

– Нет. – Элизабет ловит дочь за руку. Похоже, победа долго не продлится: Мария не из тех, кто может устоять на месте.

Альберт не задумываясь подходит к матери и принимает у нее малышку под свою опеку. Его рука скользит в руку Элизабет, он кивает ей один раз, глядя на нее снизу, как будто хочет сказать, что сразу понял, что происходит – что должно произойти, если они рассчитывают продержаться до конца войны.

Только теперь, когда одобрение Альберта получено, Элизабет прямо смотрит на Антона:

– Хорошо, – ее голос звучит тихо, как будто она боится, что дети услышат, боится, что могут сказать младшие, когда сообразят. – Если вы все еще согласны, я выйду за вас, герр Штарцман.

Антон нежно кладет руку на теплую от солнца макушку Пола, когда мальчик подбирается бочком поближе к коробке с печеньем. Конечно, он согласен.

Антон снимает шляпу, когда заходит в мебельный магазин Франке. За спиной у него звякает колокольчик, подпрыгивая на пружинке у входа. Все внутри сияет от полуденного солнца, которое льется через окно и отскакивает в разные стороны от полированных изгибов спинок кресел и от ножек столов. Франке поднимает на него взгляд, стоя возле серванта; тряпка у него в руке коричневая от воска, а комнату наполняет характерный запах, в котором минеральная теплота смешивается с едкой примесью химических паров. Лицо Франке розовое и потное от прилива крови, разогнанной усердной работой.

Антон подходит к нему. Он улыбается при виде наполовину навощенного серванта, край которого украшает вырезанная в древесине гирлянда виноградных листьев.

– Тонкая работа. Я режу по дереву немного – или, по крайней мере, резал. Уже несколько лет не брался за это.

Франце хмыкает. Он возвращается к работе, с усилием втирая круговыми движениями темно-коричневый воск в свежую дубовую древесину.

– Я оплатил комнату за неделю вперед, – начинает Антон.

– Верно.

– Я хотел бы заплатить за еще одну неделю, если можно, но после этого срока я перестану просыпаться по вашему бу-

дильнику.

Элизабет попросила о двух неделях – четырнадцати днях, которые ей нужны, чтобы помолиться и подумать, и чтобы подготовить семью к переменам. Она ясно понимает, что этот союз пойдет на пользу трем маленьким душам, полностью от нее зависящим, но, похоже, она все еще не может внутренне примириться с принятым решением. В другое время и в другом месте – в более мягком и здравомыслящем мире – она, быть может, сочла бы нетрудным продолжать жить вдовой. В другое время и в другом месте Господь, может быть, и не забрал бы ее мужа.

– Так скоро уезжаете? – интересуется Франке, продолжая полировать. Он кашляет со смешком. – Унтербойинген пришелся вам не по вкусу?

– Напротив, я собираюсь задержаться здесь надолго. Видите ли, я женюсь.

– Что? – Франке роняет тряпку и удивленно таращится. – Женитесь? На ком?

– На Элизабет Гансйостен Гертер.

– Вдове? – Франке снова смеется. – Она ледышка, поверьте мне.

– Она не ледышка, просто напугана. – Удивительно, как скоро он начал вступаться за нее. Неужели это в нем уже говорит инстинкт супруга? – Да и не все ли мы сейчас напуганы?

– Нет, – взгляд Франке мрачнеет. Антон вдруг начинает

чувствовать запах его пота, резкий и едкий, как полироль в его зубчатой банке. – Я не напуган. Не понимаю, чего мне бояться – чего бояться любому преданному Германии гражданину.

Вспомни того мужчину в поезде. Он был, скорее, готов биться, чем сдаваться – но почувствовал облегчение, что Антон не один из *них*, не националист. Всем сейчас нужно быть осторожнее и следить за своими словами. В Германии найдутся те, – даже здесь, в этом идиллическом райке, – кто любит фюрера и радуется его власти.

– Конечно, – говорит Антон, улыбаясь как будто искренне, – нам с вами бояться нечего. Мы хорошие честные немцы – преданные. Но женщины и дети, вы же понимаете. Они боятся Томми, боятся бомб.

– Томми. – Франке делает вид, что хочет сплюнуть – и так бы и сделал, если б не стоял в своем собственном магазине. – Этих трусов нечего бояться. Эти *Inselaffen*¹¹ в своих картонных самолетиках.

А между тем, Штутгарт лежит в руинах возможно с перебитым хребтом, и это менее чем в тридцати километрах отсюда.

– Как бы то и было, через две недели.

Антон передает рейхсмарки домовладельцу. Он убирается из магазина так быстро, как позволяет планировка помещения, прежде чем Франке вынудит его сказать что-то еще.

¹¹ Обезьяны с острова (нем.).

Повернувшись к мужчине спиной, Антон незаметно осеняет себя крестным знаменем, не разбираясь, просит он благословения для себя или для герра Франке. *Отец наш, прости этого человека. Прости его, Господи, ибо он не ведает, что творит.*

Когда он выходит из магазина на сухую проселочную дорогу, церковный колокол начинает звонить. Звук круглый, огромный и сочный, он катится по земле, перекачивается через пастбища и поля, через улицу и тихий переулок. Он всегда любил звуки колоколов, но эти особенно его тронули. Музыка кажется больше, чем сам Унтербойинген, и намного старше; в бронзе резонирует время, память бесчисленных лет. Эти колокола пели во времена мира и войны. Они помнят Землю, когда на ней царил мир; каждый удар язычка по изгибу темного металла отзывается радостью, которая еще не забыта. На минуту, пока звонят колокола, его охватывает вера в то, что все каким-то образом будет хорошо, и где-то в грудной клетке, в пустоте, в которой страх сворачивается тугими кольцами среди собственных теней, вздрагивает отзывчивая надежда.

Мелодия возвращает его к жизни и влечет в церковь. Низко над входом в темном дереве вырезано: «Св. Колумбан». Здание без украшений, суровое и квадратное, с простыми темными остроконечными окнами, глубоко посаженными в стенах, штукатурка на которых от времени приобрела цвет свежего масла. Вдоль всей длины черепичной крыши

тянется ребром единственная балка. Даже на контрфорсах нет резьбы, они примыкают к неглубоким крыльям церкви, выполняя ответственную функцию. Колокольня массивная, квадратная, на стенах ничего нет. Она напоминает ему египетские обелиски, правда, сам он никогда в Египте не был.

Пока он стоит и рассматривает колокольню, – финальные раскаты иссякают и сужаются до тонкого гула в бронзовом горле, – две маленькие фигурки выкарабкиваются из канавы у него под ногами: это Альберт и Пол, ноги у них забрызганы грязью.

– О небеса, – говорит Антон, – что это стряслось с вами двумя?

Альберт отвечает:

– Ничего. Мама разрешила нам играть остаток полудня.

– А вы всегда играете в сточных канавах?

– В них веселье, что надо, – заверяет Пол, топчась на месте без всякой цели, просто чтобы дать выход естественной мальчишеской энергии. – Мы играем в солдат.

– Мама сказала, вы были солдатом.

– Совсем недолго, Альберт.

Мальчик ненадолго погружается в напряженное раздумье, его веснушчатые губы плотно сжаты, а взгляд блуждает вдалеке. Через некоторое время он говорит:

– Друзья зовут меня Ал, вы тоже можете, если вы находите это подходящим.

– Как по мне, то очень даже, если и тебе это подходит.

– Как нам вас звать?

Пол сразу вставляет:

– Папой вас звать не буду.

Он тут же краснеет, удивленный собственной дерзостью, и утыкается лицом в спину Ала.

– Я этого и не потребую от вас, – он мягко улыбается, – обещаю. Можете звать меня Антоном, если хотите.

– Мама может потребовать. – Ал крутится на месте, словно не зная, куда себя деть от смущения и противоречивых чувств, обуревающих его.

– В таком случае я поговорю с ней. И мы вместе все решим. Договорились?

– Да, наверное.

За колокольней, где крыша встречается с монолитной стеной, Антон замечает неряшливую кучу палок и листьев и несколько прилипших белых перьев. Мальчики на миг вдруг оставляют свою возню и замирают. Что-то приковало их взгляд к небу – тень, ползущая по траве и дороге или свист жестких крыльев, прорезающих небо. Огромная птица лениво пролетает у них над головами: белое тело, крылья с черным абрисом, долговязые красные лапы с узловатыми суставами. В клюве она несет длинный изящный прут. Аист делает один круг, затем второй и опускается на крышу церкви, неуклюже сложив крылья.

– Они никогда не перестают трудиться над своими гнездами – даже в это время года, когда их птенцы уже выросли

и улетели, – объясняет Антон мальчикам. Его будущим приемным сыновьям.

Ал замечает:

– Отец Эмиль говорит, что гнездо к удаче.

– Он священник в этой церкви?

Ал кивает.

– Аисты на колокольне оберегают от зла, – так сказал святой отец. Но я этому не верю. Не до конца.

– Священник, конечно же, никогда не солжет тебе.

Антон снова переводит взгляд на аиста, чтобы мальчики не заметили веселой искорки в его глазах.

– Я не думаю, что он прям солгал. Но только Бог может уберечь от зла.

Пол вмешивается в порыве неожиданного возбуждения:

– Бог создал аистов и говорит им, куда лететь!

– Это так, – соглашается Антон. – Бог создал все хорошие вещи.

– А плохие вещи тоже создал Бог? – Ал произносит свой вопрос тихо, почти шепотом.

– Какие плохие вещи ты имеешь в виду?

Пол снова выкрикивает:

– Пауков и ядовитых змей!

Ал качает головой, снисходительно реагируя на возгласы младшего брата.

– Я имею в виду людей, который причиняют боль другим.

Для своего возраста он уже слишком взрослый, но таков

уж удел детей, растущих среди страданий. Как семена, давшие всходы в темном уголке, они растут тонкими и длинными, цепкими и бледными. Да и у кого могли бы развиться сильные корни, когда сама земля в опасности, когда света почти не осталось?

– Ты слышал рассказы о людях, которые причиняют боль другим?

Он молится про себя, чтобы не оказалось, что эти дети видели жестокость своими глазами, в их-то возрасте.

– Да, – говорит Ал. – Мне эти рассказы не нравятся. Я хотел бы, чтобы они не были правдой, но это же все правда, верно? Мальчики в школе рассказывали мне о...

Он запинается и осторожно оглядывается по сторонам. Этот мальчонка уже знает, что некоторые мысли слишком опасны, чтобы произносить их вслух. Отец небесный и Творец всего сущего, почему Ты заставил нас жить в такие времена? Почему ребенок боится говорить правду?

– Мальчики рассказывали о плохих вещах, которые делают солдаты.

Он практически не уточняет, о каких именно солдатах идет речь – немцах или Томми.

– Нет, парень, – говорит Антон, – Бог не толкает людей на то, чтобы причинять зло друг другу. Но Бог дал нам право делать выбор. Творим ли мы добро или зло – это только наше собственное решение и наша ответственность.

Ал посматривает искоса на аиста. Наблюдает, как тот

вплетает прут в свое приносящее удачу гнездо.

– Я не понимаю, как кто-то может выбрать творить зло.

Антон кладет руку на плечо Ала. Мальчик сам хрупкий, как птица, костлявый и легонький.

– Я тоже этого не понимаю. – Он заставляет себя улыбнуться. – Я услышал колокола и решил взглянуть на церковь. Но мне пора возвращаться в комнату. Нужно переодеться к ужину. Хотите пойти со мной?

– Мама не возражала бы, – говорит Ал, все взвесив.

Они бредут назад через Унтербойинген. Антон такой высокий, что ему приходится специально замедлять шаг, чтобы идти в ногу с мальчиками. Уже давно он не сопровождал детей куда-либо. Они прыгают, и скачут, и вечно мельтешат там и тут, даже Альберт; никакой одиннадцатилетний мальчуган не может быть таким рассудительным маленьким человечком постоянно. Между ними пропасть – она существует лишь в сознании Антона, в этом он не сомневается, но от этого расстояние между ними не становится меньше. *Так много лет разделяют нас. Пусть я когда-то и был так же молод и беззаботен, сейчас мне уже не вспомнить, каково это.*

– Я все хотел вам сказать, – начинает он после долгого молчания, аккуратно подбирая правильные слова. – Я не собираюсь пытаться заменить вам отца. В ваших сердцах, я имею в виду. Если вы даже близко не будете любить меня так, как любили его, это совершенно нормально. Я здесь, чтобы

помочь вам, ребята, – вам, вашей сестре, вашей матери. Это все, чего я хочу, – помочь.

– Почему? – спрашивает Пол.

Он понимает вопрос. Почему тебе есть дело до нас? Мы тебе чужие.

Антон отвечает:

– Потому что Господь велел нам любить друг друга.

– Даже евреев и цыган?

Ал хватает Пола за шиворот, будто собирается встряхнуть, чтобы тот молчал. Но Ал только обводит улицу взглядом, нервно и напряженно.

Я уже не помню, каково быть столь юным, но помню, что в детстве я никогда не был так напуган.

– Да, – продолжает Антон. – Все мы Божьи дети, что бы вам кто ни наплел. Но, – он бросает взгляд на Ала. – Об этом лучше говорить там, где нас никто не услышит. Не все думают так же, как мы, а иногда, когда люди не согласны, они могут разозлиться.

Все мы Божьи дети, одни руки создали нас – евреев и цыган, сильных и слабых, тех, чье сознание цельно, и тех, у кого оно расколото. Пол и Ал не слишком отличаются от детей, которых он учил в Сент-Йозефсхайме. Мальчики Элизабет умны. Едва ли кого-то из учеников Антона можно было назвать умными, но их невинность была дорога Господу – их внутренняя доброта, такая великая, какую не найти в человеке с цельным рассудком, и данная более щедро. *Вправду*

ли ты призвал меня, о милосердный Боже, сюда, чтобы я играл роль отца для детей этой вдовы? Или все это лишь мои измышления?

Он послушен создателю всех законов, но он также знает, что действует по своей воле, надеясь искупить то, что искупить невозможно. С молитвой он сможет воскресить в этих счастливых живущих детях тех, кого он спасти не смог, найти облегчение от тяжести своих грехов. Каковы его грехи? Он мысленно перечисляет их – в каждой мысли, в каждом биении сердца. Трусость, слабость, подчинение режиму, который противен Отцу всего сущего в каждом своем проявлении, в каждом движении через континент к мировому господству.

Когда они заворачивают за угол пекарни, прямо на них несется Мария, решительно сжав кулачки и так энергично скидывая колени, что юбка струится волнами и надувается. Она наскакивает на ноги Антона и от неожиданности останавливается, широко раскрыв глаза. Она раздумывает, не зареветь ли.

– Что это ты тут делаешь? – интересуется Ал ворчливо. – Тебе нельзя уходить дальше переулка! И платье у тебя порвалось. Мама рассердится. У нее и без того работы хватает, а ты ей еще добавляешь!

Мария, тем временем, решает не плакать. Она поясняет Антону:

– Мама очень устала.

Она произносит это как простой общеизвестный факт – небо голубое, у кошек есть усы.

Антон говорит:

– Ступай-ка прямиком домой, Мария, а то мама будет волноваться. Когда будешь дома, переоденься в другое платье, а это отдай братьям. Они принесут его мне в комнату над магазином Франке.

– Ладно. – Мария беспечно шагает под надзором братьев, явно мало обеспокоенная тем, что мама может разозлиться, равно как и рваным платьем.

Вечером, пока Антон ест свой простой ужин, состоящий из хлеба, масла и холодных консервированных бобов, – как он привык в Сент-Йозефсхайме, – приходят Ал и Пол, топя по лестнице наверх. Пол несет зеленое платье Марии, скомканное в руке.

– Мама все-таки разозлилась. Мы ей сказали, что вы велели принести его вам, тогда она только взмахнула руками и сказала: «Делайте, как сказал отец!» Вы теперь наш папа?

– Я стану им, когда мы с вашей мамой поженимся.

Он берет платье и расправляет его на коленях, чтобы оценить ущерб.

– Почему вы хотите на ней жениться?

Антон издает смешок:

– А есть какие-нибудь причины, почему мне бы этого не делать?

– Нет, – отвечает Пол, пока Ал постепенно заливается

краской, раздосадованный тем, как несдержанно ведет беседу брат. – Вы мне нравитесь как друг, так что, наверное, как папа понравитесь тоже.

Ал быстро поправляет его:

– Как отчим.

– Надеюсь, я не разозлил вашу маму, попросив принести мне платье. – Он поднимается с краешка кровати и открывает один из чемоданов, чтобы найти там свой маленький швейный набор, свернутый в валик и спрятанный в кожаный чехол. Сияние дня, готового перейти в вечер, на гладкой латуни привлекает внимание мальчиков; они оба спешат к чемодану и заглядывают внутрь.

– *Prima*¹², – вырывается у Ала шепотом.

Антон говорит:

– Можете достать инструменты, если хотите их поближе рассмотреть. Но играть лучше не пробуйте. Не будем беспокоить герра Франке, он там, внизу.

– Хорошо, что вы не расстраиваете Мебельщка, – говорит Ал, пока любуется корнетом, очарованный его трубами и изгибами, его гладкой прохладной поверхностью. Белоснежные клапаны замкнуты в раковине-жемчужнице.

– Почему? У него такой плохой характер?

– Да. А еще он наш местный гауляйтер.

От неожиданности у Антона перехватывает дыхание, пока он разворачивает швейный набор. Он делает вид, что ничего

¹² Класс, круто (нем.)

не произошло, – не хочет расстраивать детей, – но его горло болезненно сжалось. Здесь, в Унтербойингине, есть гауляйтер? Они глаза и уши рейха, управляющие округами от имени Национал-социалистов – и все до одного под каблуком у Гитлера и его высших чиновников.

– Забавно, – произносит он ровным голосом, пробуя кончик иглы, – никогда бы не подумал, что такое место как Унтербойинген нуждается в гауляйтере.

– Мы не нуждаемся, – говорит Ал тихо. – Так говорят многие мои друзья – и так говорят им их отцы. Никому нет до нас дела здесь, в этой маленькой деревушке. Мы не важны.

Он немного расслабляется, пока говорит, его тонкая шея сгибается над корнетом. Мальчик находит некоторое облегчение в простом факте: тут, в Унтербойингене, мы практически ничто. Теперь, когда он об этом задумывается, Антону тоже кажется это успокаивающим.

– Но у Мебельщика, – говорит Ал, – есть амбиции.

Мальчик изрекает это с такой важностью, что Антон едва сдерживается, чтобы не рассмеяться, хотя в этом, по существу, мало забавного. Он живо представляет себе, как школьники в своих коротких штанишках, с костлявыми коленями шепчутся, передавая по цепочке: *«Берегись Мебельщика. У него есть амбиции»*. Слова родителей, которые повторяются, как заговор от бородавок. Но человек с амбициями опасен в это время и в этом месте. Ал и его друзья, похоже, знают это.

– Не вздумай сболтнуть это кому-нибудь, – обращается

Ал к Полу.

Пол поднимает на него взгляд, удивленный, что его окликнули. Он все это время был полностью поглощен содержимым сундука Антона – рожками и флейтами, маленькими литаврами, онемевшими из-за фетровых подушечек.

– Он все равно меня не слышал, – говорит Ал. – Это удача. А то Пол может говорить и говорить не замолкая.

– На тебе лежит большая ответственность – присматривать за младшим братом и сестрой.

Зеленая нитка в швейном наборе Антона не совсем того же оттенка, что платье Марии, но ближе все равно не найти. В нынешние дни с текстилем туго.

Ал не отвечает, и Антон принимается делать стежки. Пока он работает, краешком глаза он наблюдает за Алом. Мальчик надавливает на клапаны корнета, медленно и осторожно, один за другим. Они издают тихий пустой звук, слабые приглушенные пощелкивания, когда прилипают и отлипают.

Через некоторое время Антон произносит:

– Я заметил, что ты отлично справляешься с тем, чтобы оберегать свою семью. Это достойное дело – мужское дело.

– Вы не показались обеспокоенным, услышав, что у нашего городка есть гауляйтер.

Он слышит не произнесенный вслух вопрос мальчика. *Почему вы не испугались? Вы настолько преданы партии, что вам нечего бояться?*

– Жизнь и прежде сводила меня с гауляйтерами, – его го-

лос звучит заговорщицки. – И еще с кое-какими людьми похуже.

Намного хуже. Но эсэсовцы победили в этой стычке, не так ли? При воспоминании о мальчиках с музыкальными инструментами в руках, боль снова пронзает Антона. Он смотрел, как детей, которые последними держали эти инструменты в руках, грузили в серые автобусы. Они проходили, доверчивые и улыбающиеся, как заложено в их природе – скакали мимо мужчин с ружьями. Мужчин, которые гнали их, как стадо, в нутро катафалка. Доверчивые и улыбающиеся, в то время как брат Назарий и другие монахи лишь тихо умоляли или мягко преграждали путь, чтобы в следующий миг быть отброшенными дулом карабинера. *Еще раз встанешь у меня на пути, и мое терпение лопнет.* Холодная сталь, с нажимом упирающаяся Антону в грудь.

Иголка вонзается в кожу, и он щиплет большой палец и ждет, пока перестанет выступать кровь.

– Тебе не нужно волноваться, – шепчет Алу Антон. – Герр Мебельщик держит ответ перед своими амбициями, но я отвечаю только перед Богом.

Ал выпячивает грудь. Он такой же узкогрудый, как и его сухопарый отчим.

– И я тоже – только перед Богом.

– Ты хороший мальчик. Для меня будет большой честью войти в вашу семью.

Он поднимает платье Марии и Ал и Пол рассматривают

заплатку. За исключением цвета нити, оно починено идеально.

Пораженный, Пол восклицает:

– Но мужчины не шьют!

– Мужчина, которого вы видите перед собой, шьет. Когда я был монахом, я сам все делал. Мне приходилось; у монаха нет жены, которая могла бы починить одежду.

У младшего из мальчиков удивленно округляются глаза. От него как-то во всех этих семейных разговорах об Антоне и намечающейся свадьбе, ускользнул тот факт что Антон когда-то был монахом.

– Ты тоже мог бы научиться шить, Пол, – продолжает Антон. – Тогда ты смог бы помогать маме и Алу, и они не были бы настолько уставшими все время. Такой большой сильный мальчик, как ты, думаю, мог бы быть огромной поддержкой семье. Разве ты не хотел бы этого, помогать как взрослый?

– Я сделаю это, если вы меня научите.

Антон взъерошивает свои тусклые волосы.

– В какой-нибудь из ближайших дней устроим урок шитья – только для нас. Это не так сложно, как кажется.

Пол пристально смотрит некоторое время на корнет, все еще зажатый в руке старшего брата.

– А вы научите меня еще и играть музыку?

Антон бережно складывает платье и передает его Полу.

– Может быть, и научу, парень.

За дорогой, в тенистых пределах церковного кладбища, ветер клонит траву, выросшую по колено между надгробными камнями. Надгробия такие древние, что прочесть высеченные на них слова уже невозможно. «Священна память» и «В Его воле – наш мир» – лишайник испещрил и разъял каждую поверхность. Если бы Антон прикоснулся к камню, провел рукой по лицевой стороне, где когда-то было написано имя, он бы почувствовал, как гранит крошится под его пальцами в пыль. Во дворе надо бы покосить, но сейчас никто этим заниматься не будет. Уже поздно. Сумерки опустились, тревожный фиолетовый полумрак под застенчивым белым серпом луны. Ветер пытается стащить с него шляпу и раскачивает аистово гнездо со звуком, с каким о ровный бесцветный камень колокольни могли бы биться кости. Сутана Отца Эмиля путается в ногах на ветру. Священник работает до темноты. За церковным двором возвышается отлогий склон холма, возносящий к небесам древнюю черную громаду леса. У подножия холма стоит стена – не сосчитать, сколько ей лет, нет уже тех, кто вспомнил бы ее возраст – вниз по стене ползет тяжелый занавес плюща. Ветер колеблет листья и переворачивает их, обнажая обратную серебристую сторону. Священник срезает плющ, высвобождая из него пространство вокруг стальной двери, которая врезана в

стену, утопающую в холме. Он продвигается резкими жесткими движениями, в которых сквозит неохота.

Несмотря на дымчатые тени сумерек, Антон определяет, что стена, и холм, и плющ слишком стары, слишком срослись с этим местом, чтобы быть реакцией на текущие сложности – на Томми с их картонными самолетиками. Но дверь – дверь новая. Стальные заклепки сияют даже в бледных лучах лунного света. Ждет ли за ней пещера или туннель, врытый в холм и пахнущий древней землей, по сторонам полки с одеялами, маслом для ламп, консервными банками с едой – оплот против британского возмездия? Здесь, в сельской местности, туннели идут от городка к городку, сеть скрытых ходов, по которым, столетия назад, пилигримы или посланцы в средневековых туниках ползли, освещая путь желтоватым светом факелов. Из этих туннелей получатся хорошие укрытия, когда будут падать бомбы.

Случайно священник отрывается от работы и смотрит вверх. Он видит Антона, стоящего там, тонкого и вытянутого, бледного, словно приведение среди могил. Его тело автоматически совершает скачок; секатор выпадает из рук в высокую траву под ногами. Но затем со смехом и обаятельной самоиронией он приветственно машет.

Антон проходит через двор и ищет секатор в траве.

– Вы тот, кто приехал, чтобы жениться на Элизабет? – спрашивает святой отец. – Герр Штарцман?

– Все так. Вы уже знаете меня? Я тут пробыл всего два

дня.

– Маленький городок, видите ли. – Снова смешок, печальный и извиняющийся. – Наша жизнь, должно быть, кажется странной человеку, привыкшему к большому городу. А даже если не странной, то слишком старомодной, чтобы быть удобной. – Он пожимает плечами. – К тому же я видел вас вчера на службе, вы все время сидели в самом конце нефтяной вышки.

Антон передает ему секатор.

– Извините, что не представился тогда. Я собирался, но потом, ну...

Элизабет была там, все дети отмыты до розовости и наряжены в лучшую воскресную одежду. Маленькая Мария всем показывала починенный подол своего платья. Элизабет попросила о двух неделях наедине с собой – двух неделях, чтобы помолиться, подумать, прийти к согласию со своими воспоминаниями. Две недели, чтобы решиться и принять то, что она должна сделать. Антон дал слово: он оставит ее полностью наедине с собой, если только она сама не пришлет за ним. Учтивость – не великое одолжение, и он из тех, кто уважает чужую скорбь. Он мог ее понять, потому что он и сам знал слишком хорошо.

Добродушно и с улыбкой Антон говорит:

– Много ли уже известно Унтербойингену на предмет личности герра Штарцмана? Вы знали, например, что я был монахом?

Отец Эмиль не знал. Он делает шаг назад, закладывает

большие пальцы за широкий пояс своей сутаны, в его позе чувствуется уважение и восхищение. Антон желал бы, чтобы на его собственной талии сейчас был веревочный пояс. Он был как якорная цепь, державшая его в часы шторма. С некоторых пор он ощущает себя как судно без якоря и без ветрил.

– Они распустили ваш орден? – догадывается Эмиль.

– Да, и закрыли мою школу.

– Вы были учителем?

– Был.

Он обнаруживает, что не может скрыть свою радость и гордость, равно как и свою печаль. Он хотел бы больше об этом рассказать, но не может выдать из себя ни слова. Боль, словно тяжелая рука, сдавливает его горло. Потеря малышей еще слишком свежа, слишком близка. Все эти милые личики навсегда оцепенели; рты, некогда готовые в любой миг рассмеяться, теперь застыли в улыбке смерти, празднующей свой вечную победу. В сером лагере, за серой стеной гора из сваленных в кучу маленьких тел, шесть футов высотой. Их всегда так легко было рассмешить. Любое привычное нам чудо трогало их и делало счастливыми – бабочка, марионеточное представление, дождь, бьющий в окно классной комнаты.

Священник дотрагивается до руки Антона в коротком безмолвном жесте утешения. Затем благословляет его крестным знаменем. Осененный святым знаком, Антон не чув-

ствует ничего, кроме благодарности святому отцу за заботу. Он сам не знает, когда это произошло, когда он перестал чувствовать силу креста. Но это случилось задолго до прихода СС. Он предполагает, что, на самом деле, это случилось в ночь, когда сгорел Рейхстаг.

– Когда вы с Элизабет планируете пожениться?

– Второго октября.

Эмиль кивает. Он взвешивает секатор в руке, балансируя; его взгляд направлен вниз и задумчив.

– Бог ей тебя послал. Она хорошая женщина, преданная своим детям и Господу.

Смысл, который скрывается в его словах: *«Бог дает лучшее лучшим. Ты – ее награда за веру, даже перед лицом несчастья»*.

– Я почувствовал это, – говорит Антон, – то, что она хорошая, хотя я едва ее знаю. Но я обнаружил, что напуган. Нет, даже не напуган, отец. В сомнениях. Видите ли, я не знаю, как... – он запинается и замолкает.

Доброта и терпение священника делают свое дело и окутывают Антона мягкими чарами, клонят его, как ветер траву.

– Я не знаю, как правильно это сделать. Я явился, чтобы помочь ей, но как? Что я сделаю? Я никогда не был ни мужем, ни отцом.

– Конечно, не был.

– Я не знаю, как это делается.

Эмиль мягко успокаивает его:

– Я тоже никогда не был мужем, друг мой. Не был я и отцом – таким, каким собираешься стать ты. Но мне кажется, что это не может так уж сильно отличаться от того, чтобы быть духовным лицом. Ты должен руководствоваться честностью, милосердием и справедливостью. Ты должен позволить себе руководствоваться во всех своих решениях и словах любовью. Это то, чего требует от нас Бог, в какой бы роли мы ни выступали: отца, матери, брата, ребенка. Соседа и друга – монахини и монаха. Это *все*, чего хочет от нас Бог – чтобы мы жили по заповедям Христа.

Как может сейчас человек рассчитывать на обладание этими качествами – честностью, милосердием, справедливостью? Все, что сотворил рейх, все жестокости и смерти, погребение наших прав в безымянной могиле – ничто из этого не было сделано по воле Антона или с его одобрения. И тем не менее, он не может перестать чувствовать своей вины. Да и не виновны ли мы все? Что привело нас сюда, как не небрежность или осознанное желание игнорировать происходящее? Мы забыли важный урок, которому наши предки выучились давно, но невежество это не оправдание; цену нужно платить. Каким образом мы так ошиблись, так согрешили, что позволили рейху захватить столько власти? Как далеко назад должны мы – как народ – вернуться, чтобы исправить каждый маленький шаг, приведший нас к бесчестию? Первые тонкие ростки этого зла пробиваются че-

рез почву истории. Но откуда они растут? Сказать, что из 1934-го, когда канцлер Адольф Гитлер провозгласил себя фюрером, мы не можем. Это была лишь кульминация долгой черной линии разлада. Кайзер подписал перемирие, и мы неожиданно стали республикой, шаткой и растерянной. Тогда ли мы изменили курс? Или первый след этого пути обнаруживается в 1918-м – один след, положившей начало этой тропе, застывший и хрустящий в ноябрьском снегу? Заглянуть ли еще дальше назад – ко временам Вильгельма I, отнимающего власть у государств, назад к Вене 1814 года, конфедерации, все еще шатающейся после удара Наполеона? Заглянем в еще более отдаленное прошлое, во времена Тридцатилетней войны. Аугсбургского мира, а за сорок лет до того – Мартина Лютера, протаптывающего свой путь во тьму, отвернувшись с пустым лицом от дверей старой церкви. В 1348 году треть нас умерла, испещренная подтекающими черными нарывами, и не было никого, кто помог бы нам, кто похоронил бы нас, кто утешил бы умирающих. Еще дальше в прошлое, к Видукинду, преклоняющемуся, подчиняющемуся Карлу Великому в золотых одеждах. Вода крещения смывает с его сурового германского лица краску, сделанную из медвежьей крови. Она стекает в черный мех его одежды, а оттуда – на чистый каменный пол. Она смывает запах и незримое присутствие его дубовых языческих роц. Мы врачевали этот рак с незапамятных времен. Как глубоко в сердце Германии распространилась опухоль? Или она воз-

никла здесь, в горячем красном волокне и льющейся крови, в потайных карманах тьмы, которые мы прячем, отворачиваясь от соседей? Где бы ни крылся источник нашей ярости, он завел нас слишком далеко. Мы не можем преодолеть эту болезнь, пока вся наша нация не истечет кровью.

– Твои мысли мрачны, – замечает Эмиль.

– В последнее время мои мысли всегда мрачны.

Эмиль кивает. Можно обойтись без уточнений, каждый сейчас понимает. Все эти годы, начиная с Польши. И еще до того, хаос лета 1930 года, когда не было парламента, чтобы взять под наблюдение подъем Национал-социалистической рабочей партии Германии. К тому времени, когда пришла осень, и температуры снизились, как полагается в сезон, герр Гитлер завоевал сердца людей – или, по крайней мере, достаточного числа людей, чтобы войти в Рейхстаг, собрать кучу для растопки и разжечь пожар. Отчаявшиеся сердца легко завоевать. Когда дети умирают от голода, мать поверит любому пустому обещанию, которое прошепчешь ей на ухо. Когда мужчина загнан в угол, он поверит, если ему сказать, что так он не может согрешить.

– Но ты не виноват, – говорит священник, – во всех этих мрачных вещах, в мировом зле.

– Мне хотелось бы верить, что это правда. Но бывают дни, когда я не могу себя в этом убедить.

– Я знаю, – отвечает священник со смешком, который лишь звук, лишенный какой бы то ни было веселости. В

его открытой улыбке сквозит разочарование. Взгляни, где мы оказались, Германия шатается, ее лицо горит позором. Мы даже не заметили, как подкралась опасность. – Большую часть дней я и сам не могу себя убедить.

– Как я с этим справлюсь? – размышляет Антон. – Как я смогу стать хорошим отцом этим трем малышам – как я смогу стать хорошим мужем этой несчастной вдове – когда я даже не могу..?

То, что он не может сделать, не облекается в слова и не поддается описанию. И самое главное, это не может быть прощено. Я не могу повернуть время вспять. Я не могу определить, в какой момент мы оступились – мы, этот народ, эта нация, к которой я принадлежу. А если бы я и смог, то все равно не в силах был бы остановить это движение, приведшее нас сюда. Я слишком слаб, я лишь человек.

– Зайдем внутрь.

Антон идет вслед за священником в церковь. Ее красота снова поражает его, как это было на воскресной службе. Снаружи здания все простое и функциональное. Внутри – святой Колумбан, освещенный несколькими старомодными масляными лампами, парящий среди арок цвета слоновой кости, обрамленных темным кирпичом, белые углы пересекаются и взбираются вверх, уводя взгляд за собой, выше и выше, к самым Небесам. Эта церковь прекраснее, чем можно ожидать от церкви в такой маленькой деревушке – в месте, не имеющем значения. Вместе Антон и Эмиль погружа-

ют пальцы в святую воду. Они кланяются, проходя мимо алтаря, и присаживаются на скамью в первом ряду. Священник вздыхает и кладет ноги на скамеечку для молитв, стоящую перед ним. Этот фамильярный жест заставляет Антона почувствовать еще большую симпатию к этому человеку, полную и лишенную логических оснований.

– Много лет назад, – начинает Эмиль, – когда я только-только дал обет, меня призвали, чтобы провести обряд экзорцизма. В других обстоятельствах, думаю, это поручение дали бы священнику постарше – более опытному. Но, видите ли, дело было в очень небольшом поселении – не в Унтербойингене, но примерно таком же – и кроме меня священника там не было. Там была женщина, которая считала себя одержимой злым духом. Мать четверых. Ей было, может, лет тридцать пять.

– Считала себя одержимой? Вы не верите в одержимость демонами?

Отец Эмиль отвечает неопределенным жестом, будто пожимая плечами. Антон понимает. В Библии говорится о демонах, и что за христиане мы будем, если не станем верить Божьему слову? Но в такие времена, могут ли нас напугать обычные угрозы Ада? Есть старая-престарая поговорка: человек человеку дьявол. У Томми она звучит немного иначе, но смысл тот же: человек человеку волк. В этом мире одно зло громоздится на другое, и спираль неконтролируемой власти разворачивается все дальше и дальше ввысь с каж-

дым днем. Эту башню человек строит сам. У ее подножия рыскают волки, жадные и ухмыляющиеся – белые холодные клыки обнажены, бесчисленные, как звезды.

– Я работал с этой женщиной и ее семьей пять дней, – продолжал Эмиль, – но ни одна из моих молитв не возымела ни малейшего действия. Она стонала и тряслась в постели, кричала, как животное, пойменное в ловушку. Она плакала, Антон, – плакала часами, но ее слезы, казалось, были неиссякаемы. Они катились и катились из ее глаз – я до сих пор их вижу, этот далекий невидящий взгляд. Весь ее дух, казалось, был сосредоточен на какой-то ужасной печали, которую я не мог понять и до которой не мог добраться. Что бы ни воздействовало на нее – скорбь, боль, страдания, – наверное, все же это был демон, – я не мог закрыть эту дверь. У меня не хватало сил прекратить это, заставить злое влияние оставить бедную душу в покое.

Священник умолкает. Его взгляд прикован к Деве Марии, написанной широкими голубыми мазками за кафедрой. Его ноги постукивают по молельной скамеечке, слегка раскачивают ее взад и вперед.

После паузы Антон спрашивает:

– Что было дальше? Женщина выздоровела?

– Выздоровела, – скамеечка возвращается в состояние покоя, ровно становясь на свои древние резные ножки, уверенная в своем месте. – Похоже, она сама себя исцелила. В крайнем случае, к моим действиям это точно не имело отноше-

ния. Просто на шестой день она почувствовала себя лучше. Как будто повышенная температура спала или зимняя метель улеглась. Семья благодарила меня и хвалила, словно я это сделал, но я знал правду. Я никак не повлиял на произошедшее, хотя и старался изо всех сил. Я продолжил, Антон, – продолжил дело всей своей жизни. Так все в жизни и происходит, правда? Мы такими созданы – мы все равно продолжаем. Но этот опыт долго еще волновал меня. Меня куда сильнее потрясло мое поражение – моя беспомощность – чем страдания женщины. Ее ужасающие крики, те безумные вещи, которые она говорила в приступах мучений – они были ничто по сравнению с моим страхом и сомнениями. Снова и снова я спрашивал себя: «Эмиль, как ты можешь продолжать заведовать приходом?» Почти каждую ночь я лежал без сна, томясь своей слабостью, страхом ошибок и зная, что даже если Бог на моей стороне, я, без сомнения, снова потерплю поражение.

В этот момент колокол звонит, отбивая час. Звук наполняет церковь, сотрясает старые кости мира. Ноты, массивные и спелые, расшатывают оковы, сдерживающие его сердце. Он закрывает глаза, и чистота музыки наполняет его; песня льется, переливается внутрь. В его сердце не остается больше места для сомнений и страха. Он думает: *«Эти колокола звонили задолго до существования рейха. И они будут звонить после его падения».*

Когда звучит последний удар, Антон задерживает дыха-

ние, ощущая затихающее гудение ноты. Оно вибрирует в его груди и потом, еще долго после того, как звук тает. Он медленно выдыхает, сосредотачивая свое внимание на тишине, ее полноте, ее наполненности надеждой.

– Они прекрасны, не так ли? – обращается к нему отец Эмиль. – Колокола. Они висели в этой башне сотни лет, представьте себе, сколько они видели, сколько слышали. Когда мои мысли особенно мрачны, я слушаю колокола и вспоминаю, что Германия не всегда была такой. Эти колокола помнят, как было раньше, – он поворачивается к Антону с застенчивой улыбкой, и скамеечка снова начинает покачиваться. – Я знаю, что говорю, как дурак, – может, я им и являюсь. Они лишь колокола, но я не могу перестать думать о них как о чем-то большем. Старые друзья – вот как я о них думаю.

– То, что вы говорите, отнюдь не глупо, Отец. Я только что думал то же.

Эмиль поворачивается на скамейке и всматривается вверх, в потолок святого Колумбана, как если бы мог видеть за сводчатыми арками темнеющую в ночи колокольню.

– Если бы я имел несчастье оказаться в какой-нибудь другой церкви – в такой, где нет колоколов, – думаю, мне тяжелее было бы переносить войну. Я был бы более несчастным человеком. Но каждый раз, как я их слышу, вместе с ними я слышу, как поет прошлое. Не могу перестать вспоминать людей, которые были до нас. Сейчас звонарные механизмы

автоматизированы, конечно, как часы, – я как-нибудь покажу вам, как работают шестеренки, – но давным-давно ни кто иной, как священник этой церкви заставлял колокола петь. Он знал все, что творилось в его приходе. Каждое рождение и каждую смерть, каждое крещение, каждую свадьбу. Каждую причину для радости и для скорби. Я думаю о них всех – целых поколениях людей – о семьях, друзьях, возлюбленных. Тогда мир был другим. Они не боялись того, чего мы боимся теперь.

– Но и тогда колокола звонили во времена страха, как и во времена радости. На колокольни, полагаю, били тревогу, когда деревне грозил пожар или наводнение.

– Да, – соглашается Эмиль со смешком, – или – как знать? – когда стая волков наступала из леса. Тогда времена были проще. Наводнения, пожары и волки не сравнятся с английскими бомбардировщиками. Однако те опасности, с которыми люди сталкивались во времена минувшие, были для них не менее ужасающими. Сейчас среди живых уже нет тех, кто помнил бы ту пору. Но колокола помнят – они хранят воспоминания для нас, чтобы мы никогда полностью не забыли эпохи, когда мы все были братьями.

Антон мягко спрашивает:

– А та женщина – и экзорцизм. Чему вас это научило? Как вы сумели продолжить руководить приходом после стольких тревог и сомнений?

– Я просто принимал каждый новый день. И я поступаю

так до сих пор, – что еще может сделать человек? Я не могу беспокоиться о том, что будет в будущем, я могу лишь заботиться о маленьком клочке времени здесь и сейчас, сегодня, час за часом, и молиться о том, чтобы мои действия отвечали Божьей воле.

– Вера в то, что все в руках Божьих.

Эмиль снова делает этот странный уклончивый жест – не то чтобы пожимает плечами, но нечто наподобие. Он оставляет мысли невысказанными, зависшими в тишине, где незадолго до того прокатывался звон колоколов. Антон слышит слова, которые Эмиль не произносит вслух. *Все в твоих собственных руках настолько же, насколько и в руках Бога. И все, что ты можешь сделать своими руками, делай из всех сил и со всей своей волей.*

– Становится поздно. Я должен окончить свою работу и отдохнуть. Завтра будет новый день,

Священник поднимается и улыбается, глядя сверху вниз, с загадочным выражением лица. Он протягивает руку и помогает Антону встать. Положив руку Антону на плечо, он говорит:

– Второе октября. Тогда начнется твоя новая жизнь.

6

Колокола будут звонить, даже когда рейх падет. Все, что во мне есть разумного, рационального, не может поверить,

что это правда. Рейх никогда не падет; он теперь слишком силен, слишком глубоко пустил корни, укрепился в повседневной жизни. Мы приняли его. Мы просто продолжили двигаться дальше, заниматься делами нашей обычной жизни, и вот что с нашими жизнями стало. Мои дни такие же долгие и темные, как ночи; эта война никогда не закончится. Столп зла будет стоять до скончания веков, до тех пор, пока ангел не забудет протрубить в трубу, и все сущее не увянет, как виноград на возделанной лозе. Но когда в моменты затишья, в моменты моего замиранья в отчаянии, я осмеливаюсь задаться вопросом, что еще может произойти, и тогда темный занавес раскрывается и внутрь льется свет. Он ослепляет меня своим великолепием. Он омывает мою душу слезами.

О Господи, Отец наш небесный, зачем ты делаешь это со мной? Разве не можешь ты оставить меня в успокоенной уверенности несчастья? Ты обнажил хрупкие кости моего горя; ты усмирил меня пред самим собой и доказал, что я трус, не годный для жизни. Но я все-таки упорствую. Я продолжаю жить. Я буду цепляться за надежду, даже будучи уверенным, как я уверен и теперь, что она более чем тщетна.

Откуда этот неустанный, тайный оптимизм – эта решимость, твердая и горячая в моем позвоночнике, и не так глубоко похороненная в моей груди? Рак, который нас разъедает, слишком голодный, чтобы когда-либо насытиться. А я лишь один человек – всего один человек. Иисус Христос, я

верил, что ты милосерден, но это такая чудовищная жестокость, заставляя меня мечтать о временах, когда зло может пасть. Какие бы грехи не привели нас к этому, они все еще в нашей крови, и будут там до третьего и четвертого колена. Однако как молвил Ты в своей безграничной любви и мудрости, *«всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость»*.

Вопреки всему, я знаю это. Вопреки здравому смыслу, я верую. Где-то, за рваным краем ночи, свет струит свою сияющую кровь в этот мир.

Часть 2

Пусть все твои слова будут проникнуты любовью

Октябрь – декабрь 1942

7

Второе октября. Воздух похрустывает. В полях, где скошенные стебли овса и ржи лежат на бороздах жнива, поднимается еле различимый дымок от костра. Птицы, которые были здесь летом, покинули эти края, большая часть из них подалась в места поприветливее. Антон идет к церкви со своей новой семьей – с теми, кто станет его новой семьей сегодня. Мальчики скачут рядом, пиная камушки на дорогу. Элизабет держится чуть в стороне, ведя Марию за руку. Спина у нее очень прямая, глаза ясные и полные решимости, губы сжаты плотнее обычного. Она выглядит так, словно марширует на Ригу. Она в том же синем платье, в котором он увидел ее впервые, и она похожа на поникшую Мадонну – лицо опущено в смирении, за решительным взглядом кроется любовь к ее детям, такая же негибаемая, как сейчас ее тело и дух. Меру ее усталости, кажется, не смог бы опреде-

лить даже Господь Бог.

Этим утром, в маленькой комнатке над магазином герра Франке, Антон стоял в пятне бледного солнечного света, разглядывая свое узкое лицо в мутном продолговатом зеркале. Тогда ему показалось, что лучше всего будет надеть свою униформу Вермахта на свадьбу – но сейчас он не мог понять, почему. Униформа, скучная и пропитанная вынужденной открытой свирепостью, – самый формальный комплект одежды, что у него есть. Должно быть, поэтому он предпочел ее костюму, свернутому вместе с веточками лаванды, тому, к которому Анита привязала голубую ленточку. Но в униформе ему явно не по себе, и не только потому, что куртка и рубашка стали слишком тесны в талии. Каким-то чудом, в это время продовольственных талонов и лишений, он умудрился начать отращивать брюшко. Слишком много времени прошло без движения и размышлений, слишком много медлительного времени, спотыкающегося о выступающие там и тут воспоминания. Эта униформа не что иное, как напоминание о временах, о которых лучше забыть. В этом, наверное, дело? Было ли его целью вспомнить – как он только сейчас понял – когда он вытащил старую униформу из сундука и стряхнул пылинки с бронзовато-зеленой шерсти? Это его власяница, его терновый пояс, такой же, как носили в прошлом монахи – предостережение никогда не поддаваться комфорту, никогда не забывать о том, как страдал Спаситель. Монахи-затворники носили власяницы, но члены орденов никогда – до

второго октября.

Когда они только встретились тем утром в переулке за фермой, мальчики, казалось, были не в настроении. Ал было тихим, слишком спокойным даже для такого вдумчивого парнишки. Несколько раз краем глаза Антон замечал, что парнишка уже открыл было рот, но потом опять закрывал, краснея, словно хотел что-то сказать, но понимал, что у ребенка нет на это права. Пол следовал за Альбертом, как полагается младшему брату. Но когда мальчики подняли на него глаза и увидели, что он в форме, их глаза засияли. Они хотели историй – солдатских историй. Он одарил их лишь одной, имевшейся у него в запасе.

– Когда я оставил орден – (когда его отняли у меня) – они сгребли меня в охапку и бросили в гущу вермахта.

– Зачем? – поинтересовался Пол.

В надежде убить меня, несомненно. Я же не дал им ясного повода переехать меня или пристрелить, когда они подошли в Сент-Йозефсхайму. Что еще им было делать с католической угрозой, как не бросить ее на Прусский фронт?

– Россия к тому времени давно уже занимала Латвию, и латвийцы были недовольны и напуганы. Поэтому мы, Германия, сказали: «Мы придем вам на помощь». Но идти было бы действительно очень далеко, из Германии в Латвию. Так что вместо этого нас погрузили в самолеты – огромные, длинные, как два железнодорожных вагона, а может, и больше. Мы летели над Пруссией в ночной темноте.

– Как бомбардировщики, – проговорил Ал.

– Примерно как бомбардировщики, да. Только вместо бомб мы скидывали солдат. Когда они открыли дверь самолета, ветер был таким холодным и быстрым, что у меня в легких тут же не осталось воздуха. Ветер ревел громче двигателей. Но командир стоял у двери и, словно не замечая ужасного шума, считал – *eins, zwei, drei, vier, funf*¹³ – и каждые пять секунду один из нас прыгал.

По правде говоря, Антон точно не знал, прыгнул ли он сам или его толкнули, не появилась ли из ревушей темноты чья-то непоколебимая тяжелая рука, чтобы сбить его с ног и сбросить в воющую пасть свинцового неба. Спрыгнул он или упал – результат был тот же. Жесткая сила притяжения, беснующийся ветер, крики самолетных двигателей, где-то в высоте неподалеку от него, кувыркавшегося в воздухе. Звезды и необратимая черная толща – земля – вертелись вокруг него. Периодически он, как бы в замедленном движении, в моменты финальной ясности, замечал конечности и тела других людей, похожих на плоские вырезанные из бумаги силуэты на фоне едва подсвеченного неба. А потом, словно чудо, недолгие минуты тренировок вернулись к нему. Его сознание и дух решили: «*Мы это переживем*». Он почувствовал, как его тянет вниз, ощутил силу испуга и отчаяния где-то в животе и сделал этот страх точкой опоры, чтобы по нему ориентироваться. Его конечности раскрылись, как у

¹³ Один, два, три, четыре пять (нем.).

падающей кошки, он, наверное, смотрелся почти грациозно, и вид земли далеко внизу – то немногое, что он мог различить в темноте, – был почти прекрасен, темный и аскетичный. Он обнаружил, что все это время считал – его сознание забилося в какой-то угол, укрывшись подальше от паники, пока он скрупулезно отмерял секунды. В нужный момент и не мигом раньше, он потянул за шнур, и парашют раскрылся над ним, ширясь и трепеща, как крылья ангела.

В приземлении не было ни грации, ни стройности. Мужчина тридцати восьми лет не думает, что он слишком стар, пока его не вытолкнут из самолета в непроглядную ночь. Когда приземляешься, даже с открытым парашютом, этого достаточно, чтобы выбить сгустки крови из твоего носа или дух из твоего тела.

Мальчики ликут, представляя своего приемного Vati¹⁴ парашютистом. Одноклассники с ума сойдут от зависти.

– Что вы сделали потом?

– Мы срезали с себя парашюты и построились в шеренги. Мы маршировали до восхода солнца – и еще долго после этого. Когда рассвело, я мог лучше разглядеть земли вокруг. И знаете, дорога перед нами была абсолютно прямой и ровной. Я никогда раньше не видел ничего похожего на эту дорогу. Сомневаюсь, что когда-либо увижу, – безусловно, зловеще прямая дорога на Ригу. – Она не делала ни малейшей попытки дать кривизну – ни вправо, ни влево. Ни разу не подни-

¹⁴ Папа, папочка (нем.)

малась и не спускалась даже с самого малюсенького холма. Так они делают дороги у себя там, в Пруссии. Очень странные люди.

Мальчики смеются. Антон нет. Его что-то ужасно нервировало тогда в этой неизменной прямоте дороге. Он много месяцев не думал об этом марше, но теперь обнаруживает, что дорога преследует его, пробивает жесткий, темный, монотонный путь сквозь его мысли. Мы неумолимо маршируем к нашей судьбе. Нет ни поворота, ни мягкого завитка, который принес бы нам облегчение; прямо перед нами лежит итог нашего национального безумия, ужасного механизма, который мы запустили в неизвестный момент во времени. Позади долгий узкий путь нашего прошлого, мощный тяжелой историей и тянущийся во тьму.

Но вот и церковь, высокая и прочная, бледная, как осенние поля. И вон отец Эмиль, выходит во двор встретить горстку друзей и соседей. Женщины и дети несут букеты полевых ромашек, собранных у зеленых ограждений и словно бы улыбающихся с надеждой в их руках. Люди машут и выкрикивают: «Alles Gute zur Hochzeit¹⁵!» Все рады поводу для праздника.

Вслед за своими школьными друзьями дети вбегают в церковь, а Элизабет и Антон медлят в церковном дворе, бок о бок. Когда они войдут в церковь Святого Колумбана, они должны будут торжественно приблизиться к алтарю. Там уже

¹⁵ Всего наилучшего в день свадьбы! (нем.)

не будет времени для бесед, переговоров в последнюю минуту, шанса признаться в сожалении.

Она поворачивается к нему. Она напряженно улыбается, ее взгляд ускользает.

– Ты проделал прекрасную работу, чиня платье Марии.

– Я был рад помочь.

Она смотрит на свои туфли, сбитые до серого цвета, но вместе с тем все равно натертые до блеска. Она краснеет, пойманная врасплох каким-то чувством, какой-то мыслью, которой она никогда не поделится с Антоном.

Он предлагает ей руку.

– Пойдем внутрь?

* * *

Когда церемония завершена и церковные колокола радостно звонят, Антон ощущает себя таким же усталым, как и Элизабет. Они произнесли священные слова перед Господом; они приняли причастие и дали клятву. Теперь пути назад нет. Их путь расстилается прямо перед ними, прямой и ясный, устремляющийся в бесконечность.

День задался; мягкий и сияющий лазурью, один из тех

ранних осенних полдней, когда октябрь, кажется, хочет впечатлить тебя теплом и позволить с довольной ленцой подумывать о том, каким, в действительности, коротким было лето. Жители близлежащих ферм расставили в саду столы и стулья; Элизабет и Антон сидят на почетном месте, на ней венок из цветов, как на юной непорочной невесте. Ее маленькие чистые руки чопорно сложены на белой скатерти, которую кто-то давным-давно вышил нитками турецкого красного цвета. Нитки теперь поблекли, а стежки в некоторых буквах повытащены, оставляя лишь дырки от иглы. Но Антон без труда читает: «*Wer seine Arbeit gut vollbringt, auch manches Andere oft gelingt!*» Трудись прилежно, и успех придет.

С тихим восторгом неожиданного открытия он замечает, что ему нравится наблюдать, как Элизабет приветствует каждого соседа. У нее очаровательная манера общения с хорошо знакомыми людьми – теплое рукопожатие, поцелуй в щеку и небольшой комплимент для каждого, который она сопровождает тихим дружелюбным смешком. *Очень хорошо сегодня выглядите, г-н Эггер. Похоже, вы преодолели свою болезнь. Рада, что вы принесли картофельный салат, фрау Герхард. Все знают, что у вас лучший в Унтербойингене рецепт.* С ним Элизабет напряженная и формальная, но это просто сказывается неловкость ситуации. Она не понимает, как быть ему женой, точно так же, как он не понимает, как быть ей мужем. С теми людьми, которых она знает –

теми, кому за много лет она научилась доверять, – Элизабет нежная и мягкая, любезная и добрая. Он размышляет: «*Когда-нибудь мы будем хорошо знать друг друга и тогда будем дарить друг другу те же простые радости: дружбу и поддержку*». Когда-нибудь. Но одному Богу известно, сколько на это уйдет времени.

Фрау Гертц, владелица фермы, – та самая, у которой Элизабет снимает старый коттедж, – торопливо выскакивает из своего кирпичного и оштукатуренного дома, неся пирог, водруженный на розовый пьедестал тортницы. Она без умолку говорит, пока идет по саду, хотя рядом нет никого, кто бы ее расслышал; она перемещается быстрыми шажками и сопровождает все отрывистыми жестами, она напоминает нервную наседку или пухленькую седовласую *Oma*¹⁶, милую и успокаивающую, легко отвлекающуюся, пахнущую корицей и ванильным кремом. У этой фрау темные волосы, не тронутые сединой, хотя она, по крайней мере, лет на двадцать старше Антона. Он, однако, замечает, что пухленькой она таки была, и не так давно: кожа обвисла складками на шее – напоминание о втором подбородке, который убрали скудные рационы военного времени.

Когда она приближается к почетному столу, за которым во всем величии восседает коронованная венком невеста и утопает в кресле жених, не очень понимающий, кому и что говорить, – фрау Гертц мобилизует свою бесцельную болтов-

¹⁶ Бабушка (нем.).

ню, руководит ей и направляет ее. «На свадебной церемонии нужен пирог, – заявляет она, достаточно громко, чтобы весь городок ее слышал. – Без него совсем не то. Ты, Элизабет, не позволила нам ничего больше организовать, ай-яй тебе! Но пирог у тебя будет, я настаиваю, я настаиваю!» Она водружает пирог перед ними – перед невестой и женихом. Торт без претензии: три золотистых коржа с изюмом и тонкими слоями масляного крема и джема между ними. «Он, однако, скромный, – продолжает фрау Гертц, – тут бы нужен пирог покрасивее, но, сами знаете, сейчас все экономят. Я сделала все, что было в моих силах, из того, что было под рукой».

– Он прекрасен, – говорит Элизабет, беря руки домовладелицы в свои.

– На всех тут не хватит, но вы двое должны отрезать себе по хорошему большому куску. На счастье.

Фрау Гертц отрезает для Антона и Элизабет куски, действительно, от души и кладет на изящные китайские тарелочки. Параллельно она бормочет: «Кто это слыхивал о свадьбе без танцев, без веселья?»

– Разве не славно мы все проводим время? – спрашивает Антон.

Соседи кружат по саду, смех мерцает вместе с осенним солнцем в золотых листьях. Тарелки гостей нагружены с горочкой простой пищей: квашеной капустой и салатами, шариками хлеба из пресного теста, кусками печени с луком. Ничего такого, что могло бы заинтересовать берлинского

гурмана, но все рады празднику. Любой повод сгодится, если можно на час забыть обо всех бедах.

Элизабет тихо говорит Антону:

– Я бы не позволила фрау Гертц или кому бы то ни было еще превратить нашу свадьбу в большое представление. Она собиралась устроить, чтобы меня похитили и спрятали – ну, знаешь, та дурацкая игра, которую затевают молодые девушки на свадьбах, – и потом послать тебя на поиски.

Она обращается к своей домовладелице:

– Герр Штарцман не хочет весь день скакать по полям и изгородям в поисках своей жены. Смешно даже вообразить, как я сижу на стуле где-нибудь в чаще, съедаемая живьем насекомыми, и жду, чтобы он пришел и спас меня.

Антон на секундочку представляет, как одной рукой отодвигает сухие кусты изгороди и находит за ней Элизабет, смотрящую на него снизу вверх, белую, как полотно, и вцепившуюся нетерпеливой жесткой хваткой в сиденье. Мертвые ветки обрамляют ее лицо, сердитое и растерянное.

– Это традиция, – сухо отвечает фрау Гертц. – А тут даже никакого риса.

– Было бы преступление разбрасывать рис сейчас, когда столько людей голодают. К тому же, фрау, это мой второй муж. Такие игры еще можно устраивать для девушек, которые никогда не были замужем, но для меня...

– А для герра Штарцмана это первая свадьба. К тому же,

*mein Liebste*¹⁷, если это вторая свадьба, это еще не значит, что нельзя ею наслаждаться. Я-то знаю.

Фрау Гертц наклоняется к Элизабет и целует ее в щеку. Элизабет улыбается подруге, но в уголках ее губ читается легкое напряжение.

Когда женщина спешит в другой конец сада, Элизабет поворачивается к своему куску пирога со вздохом, скидывая с плеч бремя долга.

– Нам лучше съесть все до последней крошки. Ничто другое ее не утешит. Она совершенно чудесная, но обращается со мной как мать, а не как домовладелица.

В воздухе вдруг повисает неожиданное затишье, некое изменение в атмосфере. Антон поднимает взгляд. Что привлекло его внимание? И тут он видит детей, собравшихся под самым большим яблоневым деревом, – там не только Альберт, и Пол, и Мария, но и их друзья тоже: полдюжины мальчиков и девочек в своих праздничных воскресных нарядах. Они плотно сбились в кучку, как будто только что перешептывались. И их взгляды прикованы к пирогу. Он подает им знак: *ну, подходите же*. Они бегут через сад, смеясь и улюлюкая с новым приливом энтузиазма, и сад снова оживает и шумит – шумит и веселится.

– Постройтесь в очередь, – командует он, – и подходите по одному.

Он аккуратно делит свой кусок пирога ребром вилки на

¹⁷ Моя дорогая (нем.).

равные части, чтобы хватило каждому ребенку на укус. Они склоняются над своими маленькими порциями, смакуя вкус меда и изюма, прикрыв глаза.

– Ну вот, раздал весь свой пирог, – говорит Элизабет. Она разрезает свой кусок пополам и перекладывает часть на тарелку Антона. – Не говори фрау Гертц, а то она заставит меня съесть еще один целый кусок. На счастье.

Дети разбегаются врассыпную. Они принимаются играть в кошки-мышки, даже не сговариваясь, просто следуя природной склонности к игре, которой обладают все юные создания. От невеселого утреннего настроения Альберта и Пола не осталось и следа. А Марию и так никогда не беспокоил Антон, равно как не трогала ее и церемония. Слава Богу, она вела себя тихо; Элизабет на время свадьбы препоручила заботу о девочке фрау Гертц – единственному, судя по всему, человеку на земле, способному призвать этого ребенка к порядку. Сегодня не воскресенье, те мне менее, Мария в своем лучшем платье, – это единственное, что в данный момент имеет значение для девочки. Молодежь умеет приспособливаться, и дети Элизабет уже приняли новую реальность: у них теперь есть отчим. У Антона есть семья. Он думает: *«Я должен написать сестре и сообщить ей новость. Она ни за что не поверит – чтобы я сделал такое – невозможно»*.

Он пробует свой кусок свадебного пирога. Его первая свадьба – и единственная. Пусть пирог и самый простой, но

насыщенная сладость меда и коньячного винограда поет у него на языке. Когда последний раз он ел что-то настолько вкусное? Годами сладость жизни омрачалась и подсаживалась пеплом войны, но больше так не будет. Он закрывает глаза.

– Фрау Гертц знает толк в выпечке, – говорит Элизабет, – даже если мне кажется, что она поступает неразумно, расходуя на нас масло и муку.

В ее тоне слышна веселость по поводу реакции Антона – и еще теплота. Оторвав взгляды от тарелок, они улыбаются друг другу. Это миг неожиданной связи – близости, какую он не ждал от своей жены. Жены. Он краснеет – еще один волнующий сюрприз – потому что вдруг он осознает и поражается, что разделил этот момент с Элизабет на глазах у стольких людей, фактически, ему не знакомых. Его это смущает, поскольку такая интимность, неожиданная и откровенная, кажется почти плотской. Это выше его понимания; когда последний раз ему приходилось лично иметь дело с женщиной, вот так, наедине? Когда Антон был монахом, между ним и знакомыми ему женщинами – теми, которых он встречал в школе, или во время каждодневных дел, или когда бродил по улицам Мюнхена, – всегда был барьер, грань невозможного. Серое одеяние и веревочный пояс обеспечивали надежную защиту, служили видимым напоминанием о том, что он не такой, как прочие мужчины, не стоит принимать его в расчет. Да и сам он никогда не смотрел на женщин иначе, чем

смотрел на всех людей – как на братьев и сестер во Христе. Эта военная форма, так плотно прилегающая к талии и становящаяся все теснее, делает его видимым. Она делает его уязвимым, делает его мужчиной. Ощущая легкое головокружение, он словно смотрит на себя издали, наблюдает за своими движениями, за каждым своим действием здесь, в этом саду, и там, в деревне. Когда он стоял у алтаря с Элизабет, повторяя за отцом Эмилем клятву, – и позднее, стоя на коленях подле своей новой жены, – он не чувствовал эмоций, достойных особого внимания. Ничего, кроме уверенности и спокойствия от того, что он выполнял Божью волю; это лишь следующая его миссия. Но сейчас, под яблонями в этом солнечном свете начала октября, в звенящем вокруг смехе соседей и детей, реальность опускается на него всем своим весом и сдавливает ему грудь. Клятва, которую он дал сегодня, не может быть расторгнута.

Ему не хватает его монашеского облачения, его серых доспехов. Он не знает, как быть собой в светской одежде. Он не знал, кем был, когда на нем была военная форма, так же он не знает себя и теперь. Дети, играя, проносятся мимо. Они поскользываются на сгнивших яблоках, незаметных в траве, падают с веселыми возгласами, снова вскакивают, разворачиваются и бегут. Они забираются на деревья и растягиваются на теплых ветках, как кошки, и лежат там, пока матери не стаскивают их вниз и не надирают им уши за то, что ребята испортили свои лучшие рубашки. Как они свободны,

как чужды долгу и ответственности. Они не давали клятв. Иногда в Сент-Йозефсхайме, когда трубки было мало, чтобы занять все его внимание, он присоединялся к детям и играл с ними в саду. В дни, когда из-за особенно хорошей погоды он раньше завершал уроки, он убегал вместе со своими учениками в поле за школой. Сейчас он уже не может бегать так же хорошо – это цена прожитых лет, – но жажда свободы и невинности игры все так же сильна в нем. Он думает: *«Господи, я сделал то, чего ты просил. Я пошел туда, куда ты послал меня. Теперь помоги мне справиться с делом, которое я принял на себя, – помоги справиться лучше, чем с защитой моих учеников от беды»*.

Трое молодых людей подходят с опозданием, они жмут всем руки по пути, продвигаясь по аллее сада. Элизабет наклоняется близко – недостаточно близко, чтобы дотронуться, но он все равно ощущает ее близость и прикосновение, которое не произошло и не произойдет, фантомную теплоту в районе плеча. Она кивает в сторону новоприбывших: «Братья Копп. Они владеют тем большим картофельным полем; ну тем, ты знаешь. На окраине деревни с восточной части». Она рассказывает ему, что дети дали всем троем братьям собирательное прозвище «Kartoffelbauer»¹⁸. Еще одна их общая шутка, их привычка называть каждого горожанина в Унтербойингене по профессии.

Картофелеводы подходят к невесте с женихом. Нужно как

¹⁸ Разводчики картофеля, картофелеводы (нем.).

следует присмотреться, чтобы найти различия между ними – у одного брата нос чуть острее, у другого более массивный подбородок, а у третьего в уголках глаз уже наметились первые возрастные морщинки. Они почти тройняшки: одинаковые пепельные блондины, говорящие похожими тенорами. Их три молодых и сильных, коричневых от солнца тела делают в унисон вежливый поклон в сторону почетного стола. Они распрямляются тоже в точности одновременно. Под столом, так, чтобы Картофелеводы не увидели, Антон щиплет себя за кожу между большим и указательным пальцами, чтобы сдержать смех.

– Герр Штарцман, – говорит один из братьев, – мы остановились у дома Франке и погрузили ваши вещи.

– Как это предусмотрительно! Спасибо, друзья мои.

– Мы перевезли все ваши сундуки к сараю возле дома, – говорит другой, указывая большим пальцем в сторону коттеджа на сваях Элизабет, – не хотели заходить внутрь без вашего разрешения.

– Вы же знаете, вам всегда рады, – говорит Элизабет. – Вы очень добры, что подумали о перевозе вещей герра Штарцмана. Я совершенно забыла об этом позаботиться.

– И я тоже, – признается Антон.

Он жмет руки всем троим Картофелеводам.

– В любое время, если вам понадобится помощь, – говорит старший, – я надеюсь, вы обратитесь к нам, *mein Herr*.

В такие времена, как сейчас, все стараются держаться вме-

сте, даже в городах. Мы протягиваем руку нашим товарищам. Мы угадываем, если кому-то что-то нужно, и дарим немного утешения. Мы разливаем молоко человеческой доброты, чтобы можно было пить, сколько захочется, пока вся другая пища поделена на рационы и талоны и никогда не бывает в достаточном количестве.

Братья растворяются в толпе, спеша присоединиться к празднику, пока он не закончился. Антон смотрит, как они удаляются. Он думает: *«Если бы мы обрели эту привычку к доброте давно, до того, как погрузились во тьму, сколько страданий можно было бы избежать – меньше для мира и для нас самих?»*

Его смущает то, как открыто он погружается в размышления; снова его лицо вспыхивает. Человек должен думать о хорошем на своей свадьбе. Но Антон никогда этого раньше не делал.

9

С началом осени сумерки опускаются все раньше. Они так быстро крадут свет из мира, что вот уже и свадебное празднество почти завершилось, столы и стулья несут обратно к фрау Гертц, встряхивают белую вышитую скатерть и аккуратно складывают квадратом, – а потом тьма становится полной. Антон и Элизабет ведут сонных детей в дом. Лестница скрипит и ворчит, когда они взбираются наверх все вместе

– новообразованная семья.

Внутри, пока дети копошатся кучкой в темноте, Элизабет медленно и осторожно идет через комнату, вытянув вперед руки, чтобы на ощупь найти свечи. Их запас она держит в маленьком шкафчике возле импровизированной кухни: фаянсовая раковина, снабженная краником, снятым с фермерской цистерны, и дровяная печка в углу, выложенном по обеим стенкам терракотовой плиткой. Спичка чиркает в темной комнате – быстрое шипение, вспышка пламени, из которого распускается оранжевый цветок света. Запах серы, острый и едкий. Она прикрывает огонь свободной рукой, сложив ее чашечкой, – изгиб янтарного оберега.

– В этом старом доме электричества отродясь не бывало, – говорит она извиняющимся тоном, – так что мы привыкли к свечам. Хорошая новость: мы не страдаем от светомаскировок – у нас нет никакого электрического света, чтобы его лишиться.

Одинокая свеча сияет, являя себя в старомодном подсвечнике из плакированной латуни, с зубчатой ручкой. За свечой, за шкафчиком, на котором она стоит, штукатурка на стене вся в пятнах и трещинах. Элизабет извлекает еще одну свечу из какого-то потайного уголка и загибает ее фитиль огарком свечи. Второе пламя вспыхивает. Интерьер старого дома показывается, смущенно выступая из своего укрытия. Антон впервые видит дом Элизабет изнутри – свой дом, с этого дня. Он с любопытством осматривается, хотя и чув-

ствует комок в горле. Сидячие места, занимающие лучшую часть комнаты, опрятные и чистые. Швейная работа лежит, сложенная в корзине, которая стоит прямо рядом с креслом, ни одной нитки не торчит и не свешивается с края. Все книги убраны на полку под окном и все в идеальном порядке, корешки тщательно выровнены в ряд. У стены стоит старомодный диван, темно-зеленый цвет подушек вытерся до белого, но на покрывале ни пылинки. Все такое же опрятное и упорядоченное, как сама Элизабет. С детьми такого порядка не бывает; видимо, их мать проводит в работе по дому каждый час, когда не шьет рубашки для тех немногих заказчиков, которые еще могут себе это позволить. Непрерывная уборка, бесконечное наведение порядка – делает ли она все это, потому что это заложено в ее натуре? Или это помогает ее забыть об окружающем мире, о тех вещах, которые творятся там, за стенами ее дома?

Даже при зажженных свечах дом кажется темным. Занавески на окнах, и без того небольших, наглухо задернуты, – плотные шерстяные шторы, призванные гасить любой случайный всполох света. Антон подходит к ближайшему окну и отодвигает занавеску не более чем на ширину ладони. Он охвачен страстным желанием увидеть звезды этой ночью, как будто это позволит зафиксировать ему в сознании дату и время, небесную карту момента, когда его жизнь изменилась навсегда. Запечатлеть звезды, идущие своими путями.

Элизабет пересекает комнату, без спешки, но решитель-

но. Она вырывает занавеску из его руки.

Мария говорит:

– Мы держим шторы закрытыми, чтобы они не могли увидеть нас и сбросить на нас бомбы.

– Не говори о таких вещах, – сразу прерывает ее Элизабет, а затем весело хлопает в ладоши. – Ну-ка все трое начинайте готовиться ко сну. Вперед, марш.

Система защиты проста и элегантна. Ночью, когда падают бомбы, маленькая деревня вроде Унтербойингена не будет видна с воздуха. Пока никто не оставит по рассеянности занавеску отдернутой, читая в постели или бредя к туалету, город останется незамеченным. Штутгарт слишком велик для такой практичной защиты, и все еще слишком наполнен жизнью, вопреки всем стараниям Томми. То же с Берлином и Мюнхеном. Вот так-то маленькая деревенька и избежала разрушений, в то время как Штутгарт, в каких-нибудь тридцати километрах к северо-западу от нее, терпел одну ужасающую бомбардировку за другой.

Дети не пошевелились. Они просто молча глазели на Антона, пораженные теперь его присутствием – самим тем фактом, что какой-то мужчина сейчас здесь, среди них. Его присутствие в новинку, оно кажется почти вторжением. Он смотрит на них в ответ, неуверенно, борясь с желанием начать переминаясь с ноги на ногу, как нашкодивший мальчишка. Должен ли он что-то сказать? Проводить их в комнаты? Где вообще их комнаты?

– Вы меня слышали, – произносит Элизабет. – Все марш; переодевайтесь ко сну. Я скоро приду, чтобы послушать, как вы молитесь.

– Я хочу, чтобы новый Vati подоткнул мне одеяло, – заявляет Мария.

Антон в нерешительности смотрит на Элизабет, ожидая ее разрешения, – кто знает, вдруг она еще не готова к этому; вдруг за те две недели размышлений она ни разу не спросила себя: *«Что я буду делать, что буду думать, если мои дети слишком привяжутся к новому отцу? Если за утешением они обратятся к нему – этому чужаку, которого я привела в наш такой упорядоченный дом, – вместо меня?»* Но Элизабет кивает, не колеблясь. Для нее это не сюрприз. Она отвечает Марии охотно, разумно и спокойно:

– Надень свою ночную сорочку и умойся. Когда ты последний раз чистила зубы? Мария пожимает плечами.

– Альберт, возьми с собой эту свечу в ее комнату, чтобы она переделась. А потом отправь-ка ее в ванную; я проверю, чтобы она почистила зубы.

Мария сопротивляется. У зубной пасты неприятный вкус. Ей не нравится, как она пенится на зубной щетке. Ей не нравится зубная щетка: она щекочет рот. Но мальчики с чувством долга тащат сестру к ее комнате, а Элизабет исчезает в задней части дома, и вот в какие-то секунды Антон остается один в тускло освещенной гостиной.

Он медленно опускается в кресло, морщась. Он боится,

что оно заскрипит, издаст какой-то звук, который выдаст его – выдаст? Выдаст его растерянность. Его смущение. Он смотрит на пустой просевший диван. Смотрит на шитье в корзинке. Так Элизабет добывает свой скудный заработок – чиня рубашки и брюки. Неудивительно, что ей нужен еще один источник дохода. Дело не в том, что она некудышняя швея. Антон немного смог разглядеть в мутном свете единственной свечи (да еще и стоявшей на другом конце комнаты), но по точным ровным стежкам он мог понять достаточно, чтобы убедиться, что ее работа превосходна, как и можно было ожидать от женщины настолько собранной и волевой. Но кто сейчас может позволить себе портниху? Даже в крупных городах люди начали сами чинить и шить себе одежду, чтобы сберечь деньги. Старьевщики быстро нажились, продавая пригодную для использования ткань из взорванных домов и Бог знает каких еще немыслимых источников. В Мюнхене молодые дамы уже превратили это в модную тенденцию. Они сами шьют себе наряды из всего, что находят на улице или покупают у мальчишек, расхаживающих с ранцами за плечами и зазывающих покупателей, выкрикивающих наименования своих товаров. Сейчас нанять швею считалось бы недостаточно стильным.

Он слышит, как в ванной дети препираются из-за чего-то, – вечерняя рутина, привычная, как дыхание. Элизабет молча и со знанием дела подходит к детям. Она расталкивает их, встает между ними, и ребята согласно успокаиваются.

Даже Мария перестает канючить и чистит зубы. Он слышит, как под половицами, в прохладном осеннем воздухе, животные копошатся, укладываясь спать. Тепло поднимается от их тел, от их напитанных домашними запахами стойл. Мутное пространство вокруг него наполняется сладкими ароматами сена и сухой земли.

– Хорошо. – Элизабет высовывается из-за двери ванной. – Мария готова, теперь она может получить свою сказку, если ты готов ей рассказывать.

На девочке просторная белая ночная сорочка из мягкой фланели. Скача на цыпочках сквозь ночь, с развевающимися золотыми кудряшками, она выглядит как херувим, сошедший с витража. Для нее все это приключение. Он заходит следом за ней в крошечную комнатку, которая полностью принадлежит ей. Зауток лишь немногим больше кладовки; Антон даже не может вообразить, зачем ее использовали тогда, когда ферма еще была новой. Кладовая или камера для вызревания сыра? От стенки к стенке тянется кровать, рядом кто-то приставил стул со сломанной ножкой, который вполне годится для ночника. Антон ставит свечу на стул, когда Мария запрыгивает в постель и зарывается в одеяло. Он сползает на ковер с бахромой и кое-как скрючивается, упираясь спиной в стену. Он умещается, только подтянув колени к подбородку так близко, как только возможно.

– Ты смешно выглядишь, – замечает Мария, складывая вместе краешек одеяла и простыни.

Он натягивает покрывало ей до самого подбородка.

– Эта комнатка не предусмотрена для меня.

В свете свечи он видит, что глаза у нее красные. Она все-таки всплакнула из-за зубной пасты.

– Я хочу услышать историю, – напоминает она.

– Сначала молитвы, потом история.

Она закрывает глаза и складывает маленькие ручки лодочкой, пальцы почти упираются в губы. Она шепчет: «Дорогой Боже, спасибо за то, что послал нам нового хорошего *Vati*. Я постараюсь быть добра к нему. И, пожалуйста, сделай так, чтобы *Mutti*¹⁹ теперь меньше грустила, раз у нее есть кто-то, кто поможет.

Она открывает глаза:

– Так нормально?

– Это очень славная молитва. А теперь надо сказать...

– Аминь.

– Молодчина, Мария. Если сегодня я расскажу тебе историю, завтра вечером будешь хорошей и не станешь заставлять маму следить, чтобы ты почистила зубы?

Надо полагать, что-то в этом роде отец должен говорить дочери.

Поскольку Мария выражает свое полное согласие, он рассказывает ей отличную историю – сказку о забавной старой ведьме, которая живет в избушке на курьих ножках. Где он впервые ее услышал? В Сент-Йозефсхайме от одного из мо-

¹⁹ Мамочка (нем.).

нахов? Или он подхватил ее где-то в Вермахте, в долгом марше на Ригу? Теперь он не может вспомнить.

Девочка начинает дремать, глазки слипаются. Она говорит:

– Я думала, ты расскажешь историю из Библии, раз ты был монахом.

– Я был братом в ордене, это немного другое. Хочешь библейскую историю в следующий раз?

– Нет, – быстро отзывается она, – истории братьев в ордене мне нравятся больше.

Прежде, чем он успеваает подумать, что делает, он наклоняется и целует ее в лоб. Сам жест удивляет его, но еще сильнее удивляет, то, как счастливо замирает при этом сердце, – как быстро он полюбил этих троих детей, с какой готовностью принял на себя свою новую роль. Марию поцелуй не расстраивает и не удивляет. Она тут же погружается в сон, ее дыхание ровное и медленное.

Чувствуя себя неудобно в таком стесненном пространстве, он поднимается и придвигается вплотную к крошечному окну. Прежде, чем открыть занавеску, он вспоминает задуть свечу. Там, в мире за пределами этого маленького святилища, ночь сгущается над сельской местностью. Поля и холмы перетекают друг в друга, а чернота перетекает в мутное темное серебро. Осенние звезды бледные, но многочисленные, ни одного всплеска света от далекого города. На западном горизонте, на месте, где должен быть Штутгарт,

темнота. Сегодня город в затемнении, – взорвали электросеть или вывели ее из строя одной из предыдущих атак, не слышных здесь, в нашей тайной дереvушке. Мы невидимы с небес. А может, в Штутгарте закончились свечи. Сегодня, когда мир черен и тих, ни одна бомба не упадет. Некого видеть, не в кого целиться, и мы можем спать спокойно.

Он задергивает штору, пряча свою новую маленькую дочь от беды.

Когда он возвращается в гостиную, Элизабет ждет, сидя в кресле. На ее коленях лежит мужская сорочка; она смотрит на нее с таким видом, будто ждет, что та сейчас вскочит и пустится в пляс. Но Элизабет не шьет – только смотрит. Мальчики уже улеглись. Они так устали за этот день, что, наверное, уже спят.

Элизабет разворачивает сорочку и бережно кладет ее на корзину с шитьем. Она встает; на расстоянии полкомнаты друг от друга они стоят в неловком молчании, ни один толком не глядя на другого, не зная, как подойти к вопросу о том, где будет спать Антон.

После продолжительной паузы она говорит:

– Ты можешь зайти и спать на моей кровати, поскольку кроме нее у нас есть только диван, а он не очень-то удобный. Но не думай...

– Я не думаю, – прерывает он ее, улыбаясь, чтобы успокоить ее. – Я имел в виду в точности то, что сказал, – наша договоренность, ты понимаешь. Я дам тебе время переодеться.

Я только на минутку выйду наружу покурить трубку.

С чувством облегчения, что все так легко разрешилось, Элизабет исчезает в комнате, той, что в конце старой части дома. Антон выскальзывает из дома и спускается по лестнице так тихо, как только может.

Уже на улице он осознает, что света от звезд меньше, чем ему сперва показалось. Ночь темна, как дно колодца, а ступенька у него под ногами кажется шаткой и ненадежной. К тому времени, как ему удастся спуститься по незнакомой лестнице, у него пропадает всякое желание курить. В тенях под домом вздыхают животные. Нащупывая путь одной рукой, он пробирается вдоль каменного фундамента и находит небольшой сарай, в котором Картофелеводы оставили его вещи. Дверь царапает о старый камень порога. Он открывает один сундук, затем другой, шаря в совершенной темноте, пытаясь на ощупь найти свои вещи. Мир совсем лишен света, ночь так холодна, что в миг его охватывает инстинктивный ужас. Волоски у него на загривке поднимаются, позвоночник обжигает волной трепета. Когда он был ребенком, приступы страха темноты постоянно охватывали его, внезапные и сильные.

В такие моменты, когда он замирал в приступе паники, он часто воображал тигра, ползущего где-то там, где его не разглядеть, тело гибкое и мускулистое, пасть приоткрыта, и он голоден. А иногда он представлял себе *Nachzehrer*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.